



УБИЙСТВО ГАПОНА

1925

Записки
П. М. РУТЕНБЕРГА

К 20-летию годовщины 9 января

УБИЙСТВО ГАПОНА

Записки П. М. РУТЕНБЕРГА

EN LIBRIS

ИЗДАНИЯ
КНИЖНОЙ РЕДАКЦИИ
СОВЕТСКО-БРИТАНСКОГО
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СЛОВО/SLOVO
МОСКВА
1990

Издательство «БЫЛОЕ»

Ленинград — 1925

Художник *Виктор Виноградов*

Рутенберг П. М.
Р 90 Убийство Гапона.— М.: СП "Слово", 1990.—

9 января 1905 года — один из самых трагических дней русской истории, когда на площади перед Зимним дворцом царскими войсками была расстреляна мирная демонстрация народа. Ее идейным вдохновителем стал священник Георгий Гапон, себялюбец и авантюрист, пытавшийся в своих "вождистских" интересах использовать не только доверие рабочих, но и влияние партии эсеров и деньги царской охранки.

Узнав о предательстве Гапона, эсеры вынесли ему смертный приговор, исполнение которого было поручено члену боевой организации партии П. М. Рутенбергу.

Настоящая книга — это воспоминания П. М. Рутенберга о деле Гапона. Переиздавая их сегодня, редакция "Ex libris" максимально сохранила орфографию оригинала.

Р 0503020300—08 — Без объявл.
М 128(03)—90

ББК 63. 3 252
Р90

ISBN 5-85050-256-4

© М "Слово"



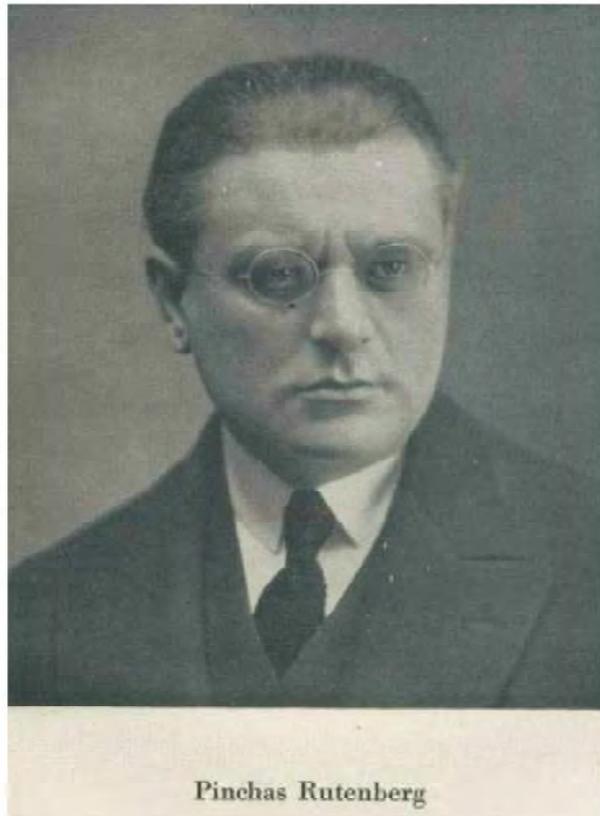
Священник Гапон



Гапон с петербургским градоначальником
Фулоном

СОДЕРЖАНИЕ

От издательства	3
Предисловие П. М. Рутенберга	4
Часть I. Гапон (январь — ноябрь 1905 г.)	5
Часть II. Отчеты Центральному Комитету Партии С.-Р. о предательстве и смерти Гапона	29
Часть III. Мои сношения с Центральным Комитетом Партии С.-Р. по делу Гапона после его смерти	81



Фотография Пинхаса Рутенберга (более поздняя) из книги на немецком: Vladimir Jabotinsky "Die Juedische Legion im Weltkrieg" Juedischer Verlag, Berlin — 1930
Владимир Жаботинский «Еврейский Легион в (С-вой) Мировой войне.

Записки П. М. Рутенберга появились в печати впервые в заграничном "Былом" (№ 11-12, 1909, июль август). В 1917 году они были предоставлены автором в распоряжение редакции "Былого", и первые две части были напечатаны в № 2 журнала "Былое" за 1917 год.

Настоящее издание воспроизводит без перемен текст записок П. М. Рутенберга первых двух частей по тексту "Былого" 1917 года, третьей же части — по тексту заграничного "Былого", выпущенному в 1917 году в немногих местах автором.

Издательство сожалеет о том, что, печатая отдельным изданием записки П. М. Рутенберга, оно не имело возможности войти в сношения с автором и предложить ему сделать дополнения и изменения, необходимость которых представляется особо очевидной, ибо автор, издавая в 1909 году свои записки, был весьма стеснен двойною цензурой — цензурой времени (расцвет реакции и т.д.) и цензурой партийной, эсеро-революционной. В деле Гапона поведение ЦК партии социалистов-революционеров было весьма конфузю, и, наводя строжайшую цензуру на записки П. М. Рутенберга, ЦК партии с.-р. думало покрыть свой конфуз.

Издательство "Былое".

Опубликовываемые записки состоят из 3-х частей, писавшихся одновременно:

1) заметки о Гапоне за январь — ноябрь 1905 года писались в конце 1907 года;

2) мои отчеты ЦК П. С.-Р. о предательстве и смерти Гапона писались по распоряжению ЦК после каждого из моих свиданий с Гапоном в зависимости от обстоятельств, в самый день свидания или через несколько дней. Отчеты тогда же пересылались ЦК. В настоящее время эта часть пополнена необходимыми пояснениями;

3) глава о моих сношениях с ЦК П. С.-Р. по делу Гапона после его смерти написана сейчас.

По причинам личного характера я до сих пор не мог заняться составлением своих записок о Гапоне. Если в моей работе встречаются какие-либо неясности, то это объясняется спешностью, с какой мне приходилось писать.

25 июня 1909 года

Рутенберг

Часть I

ГАПОН

(январь—ноябрь 1905 г.)

{7} С первого дня петербургской забастовки перед 9 января 1905 г. видно было, что дело не ограничится одним принятием назад на работу рассчитанных с Путиловского завода четырех рабочих.

(о причинах стачки и о Рутенберге см. наше дополнение отдельно: ldn-knigi)

Я внимательно стал следить за стачкой и руководителем ее Гапоном.

Незадолго до 9 января 1905 г. я ушел с Н-ского завода, где заведывал одной из мастерских. Отношения мои с рабочими были хорошие, и во время стачки они предложили мне посещать их собрания.

5 января они познакомили меня с Гапоном.

Это было в тот вечер, когда, после бесплодных хождений и хлопот по разным властям и имущим лицам, Гапон произнес свою знаменитую речь в Нарвском отделе "Союза русских фабрично-заводских рабочих".

— Товарищи. Мы ходили к Смирнову (Директор забастовавшего тогда Путиловского завода), ничего не добились. Ходили в правление, ничего не добились. К градоначальнику — тоже ничего. К министрам — тоже ничего. Так пойдем, товарищи, к самому царю, — говорил Гапон рабочим.

— Пойдем, — отвечала многотысячная толпа, увлеченная простотой логики своего "заступника" "батюшки".

— И если надо будет, головы сложим, но своего добьемся... — продолжал Гапон.

— Сложим... добьемся...

В городе к этому времени все говорили о Гапоне, кто, что и как мог. В интеллигентной среде отношение к его личности могло быть только скептически-отрицательное. Но развертывавшиеся с каждым днем события превращали его хулителей в хвалителей. Мелочи забывались. Все величие надвигавшейся грозы переносилось на Гапона, связывалось с его именем.

{8} На рабочих собраниях стали читать **петицию** к царю, собирать под ней подписи. Число рабочих, являвшихся услышать петицию, было так велико, что их приходилось пускать в зал собрания на смену по несколько человек, а за Невской заставой Гапон должен был выйти под открытое небо, взобраться на бочку с водой и читать петицию при свете фонаря.

В таинственно неясных очертаниях развевавшейся над толпой рясы, в каждом звуке доносившегося хриплого голоса, в каждом слове прочитанных из петиции требований окружавшему очарованному людскому морю казалось, что наступает конец, приближается избавление от чудовищных вековых мучений.

А Гапон, увлеченный стихией, заговорил ее языком, стал выражать ее желания, светить ее красотой.

Все тянулось к нему. По первому его слову готово было идти на муки, на смерть, на все.

Когда, после каждого прочитанного пункта петиции, он спрашивал:
— Нужно ли это вам, товарищи? — в ответ ему вырывалось
далеким стоном:

— Нужно... необходимо...

Так же слушали его, так же стали относиться к нему во всех других
частях города.

Я видел всю стихийность развертывавшихся передо мною событий,
все бессилие революционных партий и интеллигенции оказать какое бы
то ни было влияние на них, не мог понять позиции правительства,
допускавшего все это на свою же, так мне казалось, гибель.

Одно было ясно. Под предводительством священника сам
изголодавшийся, исстрадавшийся рабочий народ, с торжественно-
мрачной решимостью, что "дальше так жить невозможно", с наивной
верой в успех "последнего" средства, идет к царю просить хлеба и
свободы, просить того, что царь всегда отнимал, но **не может** не дать ему.

Бог и царь — две идеи, так долго омрачавшие сознание и
парализовавшие волю народа, были поставлены на карту.

И каков бы ни был исход затеянного свидания, оно должно было
быть роковым для одной из сторон.

Либо народ будет одурачен и, опьяненный словом и видом царя,
потянет ярмо дальше, до полного истощения, {9} либо мираж царского
всемогущества и доброжелательства к народу рассеется навсегда.

Под явно организованным влиянием рабочие с первых дней стачки
не подпускали к себе "студентов" и "интеллигентов", отказывались от
каких бы то ни было "бумажек" их и речей. В некоторых "отделах"
заподозренные в качестве интеллигентов или распространителей
прокламаций, немедленно изгонялись и часто избивались. Зачинщиками
являлись сыщики, бывавшие в большом количестве на собраниях. Они
увлекали за собой серую толпу рабочих, насторожившуюся, нервно-
приподнятую, опасавшуюся неожиданного подвоха, удара в спину,
крушения последних ее надежд.

Только вмешательство сознательной, развитой части рабочих
предупреждало бессмысленное пролитие крови, отвлечение неожиданно
скопившейся революционной силы в наиболее желательную для
правительства сторону — сторону погрома интеллигенции.

Мое положение, как интеллигента, было исключительным. На
рабочих собраниях за Нарвской заставой многие меня знали и лично ко
мне хорошо относились. Мое присутствие на собраниях не вызывало
враждебного недоверия.

Рассчитывая на свою выдержку и на авторитет, которым я
пользовался среди значительной группы рабочих, я думал, что смогу
оказаться полезным и должен поэтому идти вместе с рабочими к Зимнему
дворцу.

Восьмого января войскам роздали боевые патроны. Они заняли все
опасные для правительства пункты Петербурга. Отрезали окраины от
центра города. Гапона я мог увидеть только 9-го утром. Я застал его
среди нескольких рабочих, бледного, растерянного.

— Есть у вас, батюшка, какой-нибудь практический план? —
спросил я.

Ничего не оказалось.

— Войска ведь будут стрелять.

— Нет, не думаю, — ответил Гапон надтреснутым, растерянным голосом.

Я вынул бывший у меня в кармане план Петербурга с приготовленными заранее отметками. Предложил наиболее подходящий, по-моему, путь для процессии. Если бы войска стреляли, забаррикадировать {10} улицы, взять из ближайших оружейных магазинов оружие и прорваться во что бы то ни стало к Зимнему дворцу.

Это было принято.

Пошли в ближайшую часовню и принесли хоругви и кресты. Гапон немного успокоился и оправился.

Во дворе "собраний" собралось уже много народу. Ко мне стали обращаться за распоряжениями. Группа рабочих спросила, что хоругви-де имеются, так не взять ли и царские портреты.

Я осторожно отсоветовал.

Предстоявшая бойня казалась настолько бессмысленной, не соответствовавшей интересам правительства, что я опасался возможной патриотической манифестации. Не мне же ей содействовать.

Прежде чем двинуться в путь, надо было предупредить собравшихся, на что идут. Предупредить разброд в случае каких-нибудь неожиданностей.

Гапон так ослабел и охрип, что сказать ничего не мог. От его имени я предупредил рабочих, что солдаты в них, может быть, будут стрелять и ко дворцу не пропустят. Хотят ли все-таки идти?

Ответили, что пойдут и во что бы то ни стало прорвутся на площадь Зимнего дворца.

Я объяснил, какими улицами идти, что делать в случае стрельбы. Сообщил адреса ближайших оружейных лавок.

Когда раздалось последнее "с богом", люди стали усердно креститься. Дрогнули хоругви. Дрогнула толпа. Суетливо сжалась у мостика. Еще раз сжалась, стиснутая у ворот. И вылилась на широкое шоссе.

Мои предупреждения о возможности стрельбы, об оружии обратили внимание толпы, но не пристали к ней, не проникли в душевную глубь ее.

— Разве к богу можно идти с оружием? Разве к царю можно идти с дурными мыслями?

— Спа-си, го-ос-по-ди, лю-уди тво-я и бла-го-слови до-сто-я-ние тво-е... — разрезало звонкий морозный воздух криком последней надежды и веры десятков тысяч страдавших грудей.

— По-бе-еды бла-аго-вер-ному импе-ра-то-ру на-ше-му Ни-ко-ла-ю Алек-сан-дро-ви-чу... — звенело фанатической уверенностью заклинания, которое должно {11} было отвести всякое зло, открыть дорогу к лучшему, так необходимому, будущему.

Когда за поворотом улицы увидели выстроившуюся у Нарвских ворот пехоту, запели еще громче, пошли вперед еще тверже, еще увереннее. Шедшие впереди хоругвеносцы смутились было, хотели свернуть в боковую улицу. Но настроение и приказание толпы их успокоило. Они и за ними вся процессия пошли прямо.

Неожиданно из Нарвских ворот появился мчавшийся во весь опор кавалерийский отряд с шашками наголо, разрезал толпу, пронесся во всю ее длину.

Толпа дрогнула.

— Вперед, товарищи, свобода или смерть, — прохрипел Гапон остатком сил и голоса.

Толпа сомкнулась, двинулась вперед.

Кавалерия опять врзалась в нее сзади наперед и промчалась обратно в Нарвские ворота.

Народ, вооруженный хоругвями и царскими портретами, очутился лицом к лицу с царскими солдатами, державшимися скорострельные винтовки наперевес.

Со стороны солдат раздался глухой, перекатывавшийся по линии из края в край, резкий треск.

Со стороны народа раздалась предсмертные стоны и проклятья.

Передние ряды падали, задние убегали.

Три раза стреляли солдаты. Три раза начинали и долго стреляли. Три раза переставали.

И каждый раз, когда начинали стрелять, все, кто не успел убежать, бросались на землю, чтоб как-нибудь укрыться от пуль.

И каждый раз, когда переставали стрелять, те, кто мог бежать, поднимались и убегали. Но солдатские пули их догоняли и скашивали.

После третьего раза никто не подымался, никто не бежал. Солдаты больше не стреляли.

Через несколько минут после третьего залпа я поднял уткнутую в землю голову.

Впереди меня, по обеим сторонам Нарвских ворот, стояли две серые застывшие шеренги солдат; по левую сторону от них офицер. По сю сторону Таракановского моста валялись в окровавленном снегу хоругви, кресты, царские портреты и трупы тех, кто их нес.

Трупы были направо и налево от меня. Около них большие и малые алые пятна на белом снегу.

{12} Рядом со мной, свернувшись, лежал Гапон. Я его толкнул. Из-под большой священнической шубы высунулась голова с остановившимися глазами.

— Жив, отец?

— Жив.

— Идем!

— Идем!

Мы поползли через дорогу к ближайшим воротам.

Двор, в который мы вошли, был полон корчащимися и мечущимися телами раненых и стонами. Бывшие здесь здоровые также стонали, также металась с помутившимися глазами, стараясь что-то сообразить.

— Нет больше бога, нету больше царя, — прохрипел Гапон, сбрасывая с себя шубу и рясу.

То, что так мучило, что так трудно было понять, сразу стало ясно.

В нескольких словах подвели итог всем причинам мучительно векового прошлого, установили программу неумолимого, кровавого будущего...

На этот раз "программа" была уже не кучки интеллигенции, не "преступного революционного сообщества".

Гапон надел шапку и пальто одного из рабочих.

Через забор, канаву, задворки мы небольшой группой добрались в

дом, населенный рабочими. По дороге встречались группы растерянных людей, женщин и мужчин.

В квартиры нас не пускали.

О баррикадах нечего было и думать.

Надо было спасать Гапона.

Я сказал ему, чтобы он отдал мне все, что у него было компрометирующего. Он сунул мне доверенность от рабочих и петицию, которые нес царю.

Я предложил остричь его и пойти со мной в город. Он не возражал.

Как на великом постриге, при великом таинстве, стояли окружавшие нас рабочие, пережившие весь ужас только что происшедшего, и, получая в протянутые ко мне руки клочки гапоновских волос, с обнаженными головами, с благоговением, как на молитве, повторяли:

— Свято.

Волосы Гапона разошлись потом между рабочими и хранились как реликвия.

{13} Когда мы оставили за собой кровь, трупы и стоны раненых и пробирались в город, наталкиваясь на перекрестках и переездах на солдат и жандармов, Гапона охватила нервная лихорадка. Он весь трясся. Боялся быть арестованным. Каждый раз мне с трудом удавалось успокоить его, покуда не выбрались через Варшавский вокзал из окружавшей пригород цепи войск.

Я повел его к моим знакомым: сначала к одним, потом, чтобы замести след, к другим.

Если люди эти найдут нужным, они когда-нибудь расскажут, как вел себя Гапон в этот день. Ведь это был день 9 января.

Меня его поведение коробило.

Раньше я знал и видел Гапона только говорившим в рясе перед молившейся на него толпой, видел его звавшим у Нарвских ворот к свободе или смерти.

Этого Гапона не стало, как только мы ушли от Нарвских ворот.

Остриженный, переодетый в чужое, предо мной оказался предоставлявший себя в полное мое распоряжение человек, беспокойный и растерянный, покуда находился в опасности, тщеславный и легкомысленный, когда ему казалось, что опасность миновала.

Он не мог удержаться, чтобы не назвать себя в мое отсутствие совершенно посторонним ему людям; не мог удержаться, чтобы не рассказывать свои планы, несмотря на предупреждение не делать этого. А вечером произнес в Вольно-Экономическом Обществе перед разношерстным собранием интеллигентов "от имени отца Георгия Гапона" речь, никому не нужную, ничего не значившую, и это в то время, когда на Невском продолжался еще расстрел...

После пережитого утром 9 января такая нервность была естественна, но не для Гапона.

Меня это и удивляло и обязывало. Обязывало использовать свое влияние на этого человека, имя которого стало такой революционной силой.

Вечером 9 января он сидел в кабинете Максима Горького и спрашивал:

— Что теперь делать, Алексей Максимович? Горький подошел, глубоко поглядел на Гапона.

{14} Подумал. Что-то радостно дрогнуло в нем, на глаза навернулись слезы. И, стараясь ободрить сидевшего перед ним совсем разбитого человека, он как-то особенно ласково и в то же время по-товарищески сурово ответил:

— Что ж, надо идти до конца. Все равно. Даже если придется умирать.

Но что именно *делать*, Горький сказать не мог. А рабочие спрашивали распоряжений.

Гапон хотел было поехать к ним, но я был против этого. Он отправил в Нарвский отдел записку, что "занят их делом",

По предложению Горького мы поехали в Вольно-Экономическое Общество на частное совещание собравшихся там представителей интеллигенции разных направлений. Но и это совещание ничего сказать не могло.

Из состава "совещания" выделилась группа, принявшая несколько решений, казавшихся тогда единственно доступными и практически осуществимыми. Нашли желательным, чтобы Гапон написал к рабочим прокламацию по поводу происшедшего. Я взял на себя повлиять на него в нужном смысле.

Из Вольно-Экономического Общества Гапона увели ночевать на квартиру Б. Мы условились относительно прокламации. Но, явившись к Гапону на следующее утро, я нашел написанное им неподходящим и сам написал другую. В ней остались следующие принадлежащие Гапону выражения, печатаемые курсивом:

Родные. Братья товарищи-рабочие.

Мы мирно шли 9 января к царю за правдой, мы предупредили об этом его опричников-министров, просили убрать войска, не мешать нам идти к царю. *Самому царю я послал 8 января письмо, в Царское Село, просил его выйти к своему народу с благородным сердцем, с мужественной душой. Ценою собственной жизни мы гарантировали ему неприкосновенность его личности. И что же? Невинная кровь все-таки пролилась.*

Зверь-царь, его чиновники-казнокрады и грабители русского народа сознательно захотели быть и сделались убийцами наших братьев, жен и детей. Пули царских солдат, убивших за Нарвской заставой рабочих, {15} несших царский портрет, прострелили этот портрет и убили нашу веру в царя.

...Так отметим же, братья, проклятому народу царю и всему его змеиному отродью, министрам, всем грабителям несчастной русской земли. Смерть им всем. Вредите всем, кто чем и как может. Я призываю всех, кто искренно хочет помочь русскому народу свободно жить и дышать, — на помощь. Всех интеллигентов, студентов, все революционные организации (социал-демократов, социалистов-революционеров) — всех. Кто не с народом, тот против народа.

Братья-товарищи, рабочие всей России. Вы не станете на работу, пока не добьетесь свободы. Пищу, чтобы накормить себя, и оружие разрешаю вам брать, где и как сможете. Бомбы, динамит — все разрешаю. Не грабьте только частных жилищ, где нет ни еды, ни оружия. Не грабьте бедняков, избегайте насилия над невинными. Лучше оставить девять сомнительных негодяев, чем уничтожить одного невинного.

Стройте баррикады, громите царские дворцы и палаты. Уничтожайте ненавистную народу полицию.

Солдатам и офицерам, убивающим невинных братьев, их жен и детей, всем угнетателям народа — мое пастырское проклятие. Солдатам, которые будут помогать народу добиваться свободы, — мое благословение. Их солдатскую клятву изменнику-царю, приказавшему пролить невинную кровь, разрешаю.

Дорогие товарищи-герои. Не падайте духом. Верьте, скоро добьемся свободы и правды; невинно пролитая кровь тому порукой. Перепечатавайте, переписывайте все, кто может, и распространяйте между собой и по всей России это мое послание и завещание, зовущее всех угнетенных, обездоленных на Руси восстать на защиту своих прав. Если меня возьмут или расстреляют, продолжайте борьбу за свободу. Помните всегда данную мне вами сотнями тысяч клятву. Боритесь, пока не будет созвано Учредительное Собрание на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права, где будут избраны вами самими защитники ваших прав и интересов, выставленных в вашей петиции изменнику-царю.

Да здравствует грядущая свобода русского народа!

Священник Георгий Гапон

12 час ночи 9 января 1905 г.

{16} Гапону понравился текст, и он предложил мне писать от его имени как, что и когда найду нужным. И для этого подписал мне десятка полтора чистых листов бумаги.

(Оригиналы этой прокламации и другой, маленькой, "К солдатам", написанные моей рукой и подписанные Гапоном, должны быть у Г. У него же должен находиться тот экземпляр петиции, который несли 9 января к царю. Чистые же листы с подписями Гапона взялся сохранить Б., у которого Гапон ночевал, но когда в марте 1905 г. я потребовал их, листы оказались уничтоженными.)

Стачка падала. Оставаясь в Петербурге, Гапон рисковал быть арестованным. Его переправили в имение одного из петербуржцев, место совершенно безопасное, далекое от Петербурга. Перед его отъездом мы условились, что, если настроение рабочих поднимется, ему дано будет знать, и он вернется в Петербург. Если все успокоится, он уедет за границу. Целью поездки за границу будет: объединить под влиянием его авторитета организованные и боевые силы социал-демократов и социал-революционеров. Для этого он должен оставаться вне партий, не объявлять себя членом которой бы то ни было из них и не возбуждать существующей между ними розни публичным одобрением или неодобрением одной из них. В деревне он должен дожидаться от меня указаний и двигаться с места может только в случае опасности быть арестованным или когда узнает, что я арестован. На всякий случай я дал ему адреса и пароли для перехода через границу и для явки за границей. Его снабдили деньгами.

"Подняться" настроению рабочих не пришлось. В первые дни требовали оружия, бомб, планомерного руководства, т.е. организации. Ничего не было. Гапоновская прокламация дошла до рабочих поздно, когда нужда успела уже оказать свое влияние, когда многие стали уже на работу, а накопившаяся злоба притупилась и пошла внутрь.

Я решил ехать вместе с Гапоном за границу. Переслал ему паспорта,

указания, где и как со мной встретиться (в России). Но его уже в деревне не было. Не дожидаясь от меня известий, он уехал оттуда сам и перешел границу близ Таурогена, раньше меня на день.

{17} Пережитые Гапоном в России и при переходе через границу тревоги, переезд через всю Европу, без языка и с боязнью быть узанным и арестованным, закончилось тем, что в Женеве он не нашел лица, к которому я его направил. Не нашел, значит, и меня.

Два дня, как рассказывал он мне потом, он ходил по городу беспомощный и измученный. Отправился, наконец, к Плеханову.

Ему, конечно, обрадовались, приласкали его. А он, очутившись в тепле и уюте, захотел, должно быть, сказать окружающим что-нибудь приятное. Он рассказывал о 9 января, о том, что сознательно заранее все подготавливал и что... он — социал-демократ, социал-демократом всегда был и социал-демократ его спас.

Не экзаменовать же его было присутствовавшим. Говорил ведь Гапон. А кто в те дни не считался с его словами?

Его спросили, можно ли об этом написать Каутскому и в "Vorwaerts" (нем. «Вперед», *ldn-knigi*)

Гапон ответил, что можно не только написать, но даже телеграфировать.

Так и сделали.

Через день он встретился со мной. Начались переговоры с представителями разных партий. И, неожиданно для себя, я узнал, что Гапон успел уже не только сам попасть, но и других поставить в неловкое положение.

Оказавшись первой фигурой русской революции, Гапон в то же время не разбирался в смысле и значении партий, с которыми ему пришлось иметь дело, в их программах, спорах. Он не понимал даже всей важности сыгранной им 9 января роли. Мне не раз приходилось разъяснять ему это. Разъясняли ему другие и сама жизнь. Каждый по-своему. И каждое из этих разъяснений различно на него действовало, разное им воспринималось.

Первые две-три недели ему приходилось выслушивать и читать о себе самые фантастические комбинации. Но останавливаться на них, "угорать" от них некогда было. Кровавый ужас 9 января слишком свеж был в памяти. Динамит и оружие, террор и вооруженное восстание, о которых судили и говорили на "свиданиях" и "совещаниях", слишком захватывали и удовлетворяли бессознательно накопившееся чувство.

Встречавшиеся представители разных партий {18} подходили к нему как к революционному вождю, так с ним разговаривали, такие к нему требования, конечно, предъявляли. А он в ответ мог связно и с одушевлением рассказать о 9 января, о намеченной программе. Когда ставились непредвиденные вопросы, он "соглашался" со мной, а когда меня не было, "соглашался" и с другими, т.е. часто с мнениями диаметрально противоположными. И из одного неловкого положения попадал в другое, из которых мне же приходилось его выпутывать.

Так или иначе, он был искренен в это время. Умело или неумело, — он заботился только об успехе дела, с которым оказался связанным. О своем "величии" не думал. Во всяком случае, ничем этого не проявлял.

Но продолжалось так недолго.

Мы переехали в Париж.

Гапон был свободен теперь от деловых свиданий, стал вести жизнь более спокойную и нормальную, чем в Женеве. Стал читать немного, работать. Он должен был написать несколько брошюр и прокламаций.

(Подробность, в настоящее время небезынтересная. Прокламации свои он раньше всего читал и исправлял со мной, а потом читал другим товарищам. Между прочими прокламациями Гапон написал письмо Николаю Романову. Я был против его печатания. Он прочел его тогда в присутствии Азефа и Р. Я настаивал, что этой прокламации печатать не следует. Р. молчал. Азеф поддержал Гапона. Прокламация была напечатана.

Небезынтересна и следующая подробность. Приблизительно в феврале 1905 года к парижскому представителю партии, Рубановичу, явился молодой человек, заявивший, что он состоит на службе в русской полиции, что раскаивается в этом и хотел бы быть полезным партии. Молодой человек предоставлял себя в полное распоряжение партии, соглашаясь чем угодно доказать свою искренность.

Гапон в это время жил в семье Азефа и однажды из своей комнаты услышал, как Азеф рассказывал об этом своей жене. Он завожился, позвал к себе Азефа, заставил пересказать себе все и точные приметы молодого человека, так как ему казалось, что он знает его по России, видел его там в полицейских кругах. Разговорившись с Азефом, Гапон рассказал ему подробно о своем знакомстве и сношениях с Зубатовым и другими полицейскими.

Азеф передал мне этот разговор. Но я совершенно не могу восстановить его. Азеф отплевывался, как от чего-то мерзкого, "Прошлое попа" ему претило. Азеф, конечно, говорил об этом не мне одному. И кто-нибудь из товарищей восстановит его рассказ.)

Одному из товарищей пришла мысль пойти с Гапоном к Жоресу, Вальяну, Клемансо... Гапон охотно согласился. Я был против этого. Знал уж его и опасался, что {19} хождение по знаменитостям скверно на него повлияет, во всяком случае отвлечет от дела. Но скоро я должен был уехать из Парижа на несколько дней. Гапон остался один. И вывод его в "свет" состоялся.

За время моего отсутствия он успел побывать у Жореса и Вальяна и условиться о свидании с Клемансо.

— Знаешь, кто такой Вальян? — спросил Гапон, рассказывая мне об этих свиданиях с глубоко ушедшими, задумавшимися глазами.

— Конечно, знаю.

— "У вас большой ум и великое сердце", — сказал он мне на прощание. Так и сказал: большой ум и великое сердце. И трясет руку... Оба, и Жорес и Вальян, были страшно рады повидаться и поговорить со мной. Они сказали, что это для них большая честь.

Гапон засмеялся мелким, нервным смехом.

Всегда, когда он рассказывал о чем-нибудь, приятно льстившем ему, стараясь сдержать и скрыть переполнявшую его радость, речь его непроизвольно прерывалась этим мелким, нервным смехом. *(В книге этот абзац дан два раза, ldm-knigi)*

— Я спросил Жореса, могут ли меня арестовать в Париже. Он поднял кулаки, раскричался. Сказал, что **все разобьет**, если меня арестуют.

А утром, в день свидания с Клемансо, Гапон пережил сам и устроил другим непристойную драму; ему купили рубашку с гладкой, а не с гофрированной грудью. У него к этому времени вкус к одежде стал уже утонченным...

Продолжительные переговоры с разными партиями окончились решением созвать конференцию из уполномоченных этих партий, которая обсудит и решит поставленное Гапоном предложение: объединить и организовать революционные боевые силы в России.

Для меня переговоры эти выяснили, что никакое "объединение"

немыслимо, и если состоится, то никаких практических результатов не даст. С.-д. "меньшевики", в лице Плеханова, совсем отказались от участия в конференции, считая Гапона лицом, недостаточно авторитетным и компетентным для подобной {20} инициативы. Не дожидаясь конференции, я стал собираться в Россию.

Желание объединить вокруг Гапона все партии я оставил, как неосуществимое. Оставаться ему для осуществления этого плана вне партий было незачем.

Наоборот. Присматриваясь к нему, следя за развивавшимся у него самолюбованием, мне казалось, что партийная дисциплина, какое бы то ни было практическое дело для него необходимы. Бабушка (Е. А. Брешковская), которая должна была вскоре вернуться из Америки, старики, так или иначе относившиеся лично к нему хорошо, своим авторитетом и руководством могли оказать на него только хорошее влияние.

Я сказал об этом Гапону, объяснил ему мое отношение к нему. Предложил, если хочет, поставить вопрос о принятии его в члены партии.

Он сильно морщился от моих объяснений, но согласился со мной.

Мне надо было вернуться в Женеву. Гапон отправился вместе со мной.

Мы приехали с ранним утренним поездом, молча шли по пустым еще улицам. На rue Corraterie Гапон отстал от меня. Я обернулся: застывший у витрины писчебумажного магазина, очарованный, не в состоянии оторваться от... своего портрета на почтовой открытке. Я не мешал ему. Не мог мешать, — так поразил меня его вид. Это он впервые наткнулся на конкретное доказательство своей популярности даже "за границей". Несколько минут мы простояли так, он глядя на свой портрет, я — на него.

Потом пошли молча дальше, каждый со своими мыслями.

Я хотел до своего отъезда в Россию устроить Гапона, предупредить возможные недоразумения. Чтоб он не нуждался в деньгах, ему дали 1000 фр. Партия согласилась принять его в члены — на известных условиях, конечно.

В присутствии товарищей (Чернов, Савинков и Азеф) я объяснил ему обязанности, которые он берет на себя, вступая в партию. Ни о каких самостоятельных планах, деловых переговорах без предварительного совета и разрешения Центрального Комитета не могло быть больше речи. Ни о {21} каких двусмысленностях, недоговоренностях — тем больше. Ему предлагалось почитать, подучиться и в то же время писать свои записки, для которых был найден издатель. Тем временем выяснится положение дел в России, приедут некоторые из товарищей; тогда определится его практическая роль в революционной работе. Относительно "прав" можно будет говорить в зависимости от результатов его работы. Претендовать на откровенность он может в пределах той области, в которой будет работать.

Все это не было для него ново, потому что и раньше с глазу на глаз я говорил ему то же самое. Выбор у него был свободный. Он мог и не соглашаться.

Он принял все условия.

Это было в вечер моего отъезда из Женевы в Россию, приблизительно в первых числах марта 1905 года.

(Характерна и эта подробность. После разговора с Гапоном мне надо было пойти

с Азефом в город. По дороге мы заговорили о... доверии к Гапону. Я сказал, что, по моему, с ним следует быть осмотрительным. Предать не предаст, но при аресте, припугнутый, может рассказать все, что знает. Азеф, с своей стороны, сказал, что с некоторых пор вообще к нему не питает доверия. Чем вызвана была самая возможность этого разговора, сейчас не помню. Но было, очевидно, достаточно данных, хотя бы и неуловимых, давших повод к такому к нему отношению через месяц после его приезда за границу.)

После моего отъезда история гапоновской жизни свелась к следующему.

Слава была у него. Деньги скоро появились. Как только появились деньги, появились всякие "возможности". Для достижения их понадобилась "свобода", оказалось не по себе в тесном кругу товарищей-революционеров, среди которых он жил до тех пор. Вынырнуло тщеславие, нашедшее достаточно пищи во всем его окружавшем.

Неслыханные, совершенно непереваримые (*так в книге, Idn-knigi*) для него гонорары за его рукописи, фантастические сказки о нем в печати, разные иностранные "знаменитости" (вплоть до английской принцессы), добивавшиеся посмотреть на него, проинтервьюировать его, поклонение в "колониях", даже расклеенные на улицах плакаты о театральных и балаганных представлениях с громадными надписями "Гапон", сами эти представления, на которых Гапон присутствовал, — все кружило ему голову, все говорило ему, что он может быть только {22} "вождем" революции — ни в каком случае простым членом революционной партии.

Естественно, что учиться чему бы то ни было он оказался нерасположенным. Ехать в Россию, заняться по выработанному совместно с ним плану крестьянской агитацией не захотел. Ехать туда он соглашался только тогда, когда "все будет готово". Он предпринял ряд шагов, ставивших партию в двусмысленное положение, благодаря тому, что его считали членом партии.

Ему предложили выйти из партии.

Большое влияние на него оказало еще следующее обстоятельство. Посланная в Петербург по личному его делу госпожа Н. вернулась и сообщила ему, что встретила пасху в обществе "его" рабочих, гапоновцев, что рабочие его помнят, никогда не забудут и хотят устроить подписку, чтобы поставить ему памятник.

— При жизни, — добавил Гапон, рассказывая мне позже в Лондоне про это. — Как никому.

Узнав об этом, он немедленно отправил в Петербург к рабочим другого "комиссара" с требованием прислать ему формальные полномочия быть их представителем и устраивать все их дела. Выписал себе за границу рабочего Петрова, на которого мог, как рассчитывал, во всем положиться.

Будучи членом партии, живя среди партийных товарищей, Гапон знал о некоторых партийных предприятиях, знал и об организовавшемся тогда для России большом транспорте оружия и динамита. Познакомился с Соковым (не членом партии), доставившим большие средства для этого дела.

Соков увлекся рассказами Гапона о 9 января, о его влиянии на рабочих, о слепом доверии их к нему, Гапон рассказывал о спорах между революционными партиями и об их бессилии сделать что-нибудь. Просил дать ему средства для самостоятельной работы среди своих, гапоновских, рабочих. Свидетелем солидности его планов и организации он

представлял "раненного 9 января" своего помощника, "председателя Невского отдела", "рабочего" Петрова, приехавшего к нему "с полномочиями от петербургских рабочих".

Петров был ослеплен блеском, в котором застал Гапона за границей, его рассказами и планами, его критикой революционных партий. Он поддался влиянию Гапона и рассказал Сокову все, что заранее велел ему сказать Гапон.

{23} На основании "свидетельства" Петрова Гапон получил 50.000 франков.

Около 20 мая 1905 г. я вернулся из России за границу (в Париж). Мне рассказали о Гапоне, о сделанном ему предложении выйти из партии и о причинах этого. Мне поручили поехать в Лондон повидаться по делу с Соковым. Там я встретился с Гапоном.

Среди товарищей я был самый близкий Гапону человек за границей.

Он обрадовался моему приезду; радовался тому, что я ускользнул от ареста на границе. Рассказывал мне о причинах ухода из партии. По-своему, конечно. О планах, сводившихся к восклицанию: "Ты увидишь, что я сделаю!" Но дольше и подробней всего рассказывал о памятнике, которые рабочие собираются поставить ему "при жизни" — "Как никому"; о его бюсте, "поставленном в здешнем лондонском музее" и "в Париже тоже". (Это над ним подшутил, должно быть, кто-то.) Рассказывал о том, что за каждое написанное им "слово", по его "расчету", выходит "по двадцати копеек". Рассказывал о деньгах и оружии, которые у него имеются и будут. Приглашал меня "оставить с.-р-ов" и работать вместе с ним. Он убедился, что все революционеры — талмудисты и не знают практической жизни. Если с.-р. и с.-д. захотят, они пойдут за ним, а не захотят — он заставит их идти за собой.

Все это было для меня ново в нем. Я попробовал было говорить с ним по-старому, по-товарищески. Но скоро прекратил, увидев, насколько это бесплодно.

Перед вторичным моим отъездом в Россию Гапон приехал повидаться со мной в Женеву. Но и из этого свидания никакого проку не вышло. Мы совершенно разное смотрели на вещи, шли разными дорогами.

(По имеющимся у Вл. Бурцева данным. Гапон к этому времени уже возобновил свои сношения с департаментом полиции через приехавшего к нему за границу Медникова)

ЦК поручил мне поехать в Россию поставить приемку оружия с отправлявшегося тогда парохода "Джон Крафтон". Заняться этим делом мне не пришлось. Через несколько дней после приезда в Петербург {24} я был арестован на улице, после несостоявшегося, условленного с бывшим членом партии... Татаровым, свидания. До выхода из тюрьмы о Гапоне не знал ничего. Как он жил это время, о его поездке в Финляндию, о том, как он впутал в дело приемки оружия совершенно посторонних делу лиц, о его жизни за границей после возвращения из Финляндии знаю по рассказам.

— Был у вас в России Гапон, теперь вам нужен Наполеон, — сказал однажды Гапону наивный, восторженный капитан Кок (известный капитан финляндской красной гвардии).

— Почем вы знаете, может, я буду Наполеоном, — срезал его совершенно серьезно Гапон.

Это было в Финляндии, осенью 1905 г., когда ждали прибытия

парохода с оружием. Для меня до сих пор неясна роль, которая предназначалась при этом Гапону. Речь ведь шла тогда о том только, чтобы принять и спрятать оружие, а не о каком бы то ни было вооруженном восстании.

Финны прятали Гапона, ухаживали за ним. Но, по их словам, он в это время совсем не походил на Наполеона. Он очень волновался, боялся быть арестованным, а главное — "повешенным".

Разное мне рассказывали о его жизни за этот период, хорошего мало. Но для меня из рассказанного видно было, что если он и развлекался, кутил, то переживал и тяжелые минуты. Вернувшись из Финляндии после крушения "Джона Крафтона", он часто и горько тосковал. Ведь делать что-нибудь, работать он не умел. Интересы эмигрантской колонии? Мелкие дрязги ее повседневной жизни? Многих они засасывали, но кого же не отталкивали от себя?

Вот картина, рассказанная очевидцем.

Парижский кабаk. За столом охмелевший, загрустивший Гапон. Кругом содом. Гапон подымает голову, с помутившимися глазами зовет гарсона.

— Гарсон, "Реве тай стогне".

Французский гарсон, конечно, не понимает.

Гапон сердится, бьет кулаком по столу, настаивает на своем.

Его стараются понять и удовлетворить. В оркестре отыскивается интернациональный скрипач, понявший, чего от него требуют.

Плачет скрипка... Плачет Гапон. Мысли его далеки от окружающего его кабацкого, обратившего на него внимания хаоса. Гапон плачет и подтягивает:

{25}

Реве тай стогне Днір широкий,
Сердытый вітер завыва,
До долу вербы гне высокі,
Горами хвилью підійма...

Скрипач кончил, расшаркался с изысканной, любезной улыбкой.

Гапон брезгливо запускает пальцы в жилетный карман и швыряет скрипачу золотой...

Три раза я виделся с Гапоном в ноябре 1905 г., т.е. после октябрьского манифеста и амнистии.

Первый раз мы встретились в Вольно-Экономическом Обществе, во время заседания Совета Рабочих Депутатов. Это было в начале ноября, после второй всеобщей забастовки, когда петербургские рабочие потребовали и получили жизнь для кронштадтских матросов и снятие военного положения для Польши.

По словам Гапона, он только что приехал тогда в Петербург.

В боковой, примыкавшей к общему залу комнате, в темноте, уместившись на книжных тюках, мы вспоминали 9 января и все прошедшее после него, говорили о текущем движении и руководителях его, говорили о личных наших делах.

К моему удивлению, Гапон попросил использовать мои связи, чтобы исхлопотать ему амнистию.

Я возражал, что ему, с его прошлым, неприлично **ходатайствовать** перед правительством о своей амнистии.

Я предлагал ему стать, как революционеру, под защиту революции.

бывшей в то время еще победительницей, а не побежденной.

— Пойди, попроси сейчас же у председателя слова, скажи собранию: "Я — Георгий Гапон и становлюсь, товарищи, под вашу защиту". И никто тебя не посмеет тронуть.

Он не соглашался. Вялый, задумавшийся, недоговаривающий чего-то, он отвечал мне:

— Ты ничего не понимаешь!

Второй и третий раз Гапон приезжал ко мне на квартиру.

Сначала несколько подробностей.

1) В первый из этих приездов он просил дать ему денег, так как нуждается. Я мог предложить ему только 25 рублей. Он их взял. И позже, в январе 1906 г., возвратил их моей жене.

{26} 2) В то время по улицам Петербурга небезопасно было ходить даже среди бела дня. "Развлекалась" только что народившаяся **сотрудница правительства** — черная сотня. Гапон просил дать ему два браунинга. Я обещал их и дал их ему при следующем свидании.

3) В середине ноября 1905 г. я был в канцелярии прокурора судебной палаты, чтобы взять свои документы. Мне сказали, что все привлекавшиеся вместе со мной по делу 9 января, и Гапон в том числе, амнистированы. Во время второго свидания, у меня на квартире (т.е. последнего нашего свидания, в ноябре), я ему сказал об этом, очень довольный, что Гапон прекратит подпольный образ жизни. Но он только принял это к сведению.

Оба раза на моей квартире мы много говорили об его отделах. Он спрашивал, что и как ему следует, по-моему, делать.

Я отвечал: если он имеет в виду свои личные интересы, то использует интерес и доверие рабочей массы к его имени, как демагог. Но цели, наверное, не достигнет, так как социалистические партии достаточно сильны и организационно и идейно, чтобы уничтожить его при первой же подобной попытке. Если же для него важны интересы рабочих, а не свои собственные, — а интересы рабочих он обязан защищать раньше всего, — то роль его должна свестись к следующему.

Он должен восстановить свои отделы, как внепартийные рабочие организации. Своим влиянием на серую массу рабочих, уходящую к черной сотне, он должен собрать и организовать ее в своих отделах. Верхи рабочих, организованные в социалистических партиях, по-моему, тоже примут в них участие. При каждом из отделов каждая из партий должна иметь свое бюро со своим книжным складом, читальней и т.д. Если среди рабочих окажется значительная группа даже черносотенцев, которые пожелают иметь свое бюро, они должны его получить. Ни в каком случае не допускать для какой бы то ни было партии "захвата" влияния над всей организацией. Каждая из них должна использовать по очереди свое право устройства лекций, рефератов, на которых должна соблюдаться для всех без исключения свобода слова. Рабочие, таким образом, научатся самостоятельно разбираться в окружающих их течениях, сознательно и спокойно решать интересующие их вопросы, а не будут ограничиваться {27} принятием митинговых резолюций под влиянием того или другого агитатора. Собранные в отделы, рабочие организуются в профессиональные и кооперативные союзы. А сами отделы станут союзом профессиональных и кооперативных союзов. Рабочее движение делается силой, которая сумеет вести серьезную

экономическую борьбу.

Гапон соглашался со мной. И для успеха дела просил написать в "Сыне Отечества" статью, призывающую рабочих относиться с доверием к нему и его отдела. Я обещал, если товарищи согласятся со мной.

Отдельные слова, выражения Гапона, тон, которым он говорил, оставили у меня отвратительный осадок на душе. Неприятное впечатление произвел на меня и "товарищ" его, с которым он приехал, маленький, невзрачный рабочий, остававшийся почему-то, как распорядился Гапон, в течение всего нашего разговора в другой комнате. Судя по описаниям, это был Кузин.

Раньше чем я собрался написать обещанную статью, в газетах появились известные интервью с Гапоном. Я вызвал его через рабочих к себе, чтобы объясниться, но он не явился. Говорили, что он уехал из Петербурга.

Чем больше росли гапоновские организации в Петербурге, тем чаще появлялись гапоновские интервью, все более определенные по своему содержанию, нападающие на социалистические партии, примиряющие с правительством. Мне казалось, что из двух путей, о которых я говорил с ним, он выбрал первый, т. е. путь демагога.

Между тем рабочая среда, даже партийная, заколебалась. Захотели идти в отделы. Привлекали широко организации и имя Гапона. В партиях и в Совете Рабочих Депутатов стали обсуждать вопрос об отношении к гапоновцам и их организациям. В Исполнительном Комитете Совета Рабочих Депутатов, где я был представителем от партии, я высказался за борьбу с гапоновщиной как с демагогией. Но вопрос этот тогда не был решен. А скоро перестал существовать самый Совет Рабочих Депутатов.

В конце декабря 1905 года я вынужден был перейти опять на нелегальное положение. Гапоном больше не занимался. Ничего о нем, кроме того, что было в газетных заметках, я не знал.

{28} В конце января 1906 г. ЦК поручил мне поехать в Москву. Перед отъездом я виделся с женой, которая сообщила мне, что Гапон меня разыскивает, хочет переговорить со мной о чем-то.

Я заехал к Гапону на дачу в Териоки, но не застал его и уехал в Москву, не повидавшись с ним.

Отчеты Центральному Комитету Партии С.-Р. о предательстве и смерти Гапона.

ОТЧЕТ 1*

(* Рассказы Гапона и его разговоры со мной записаны, поскольку было возможно, с буквальной точностью. Слова и выражения в моем изложении те, которые употреблял сам Гапон. Примечания от моего имени помещены там, где это мне казалось нужным для ясности.

При редактировании этих отчетов исправлено и сокращено только то, что говорится от моего имени. Сказанное самим Гапоном и записанное в свое время — не изменено. Последние два отчета подтверждаются, конечно, присутствовавшими. Добавленное позже тоже помечено.)

6 февраля 1906 г. в Москве, где я жил нелегально, ко мне явился Гапон. Моя жена, вполне ему доверявшая и знавшая, как меня разыскать в эти дни, указала ему, куда обратиться. Гапон приехал 5-го утром из Петербурга и явился по данному адресу. Ему сказали, что я туда должен прийти только 6-го, в 3 часа дня. Когда я пришел, Гапон уже ждал меня.

Он сказал, что приехал специально повидаться со мной и сообщить мне что-то очень важное.

— Дело, большое дело. Верно. Не надо только смотреть узко на вещи. Ты даже догадаться не можешь, в чем дело. Вечером поедем в Яр, (Яр — загородный ресторан в Москве) там поговорим.

Я указал, что в Яр ехать неудобно в полицейском отношении. Да и не к чему. Можно тут сейчас переговорить.

— Пустяки все это, — вспыхнул он чего-то, но сейчас же добавил упавшим голосом, странно на меня поглядывая: — Ты не бойся. Ты мне, главное, верь. Поедем. Говорю тебе, не арестуют. Потом я пригласил Александру Михайловну (Имена, набранные в разрядку, изменены. А.М. — хозяйка квартиры, где мы встретились) и старого ученика моего по семинарии с женой. Он хороший человек. Поедем. Проведем вечер. Там поговорим.

Я наотрез отказался ехать в Яр разговаривать о {32} конспиративных делах. Любой сыщик мог его там узнать в лицо, и я провалюсь. Да и приглашенные им посторонние люди будут мешать. Предложил ему, если хочет, говорить сейчас.

Он отказался, сославшись на отсутствие настроения для разговора по такому важному делу. Мы условились встретиться на той же квартире в 9 часов вечера.

Вид и настроение Гапона, которого я не встречал с ноября 1905 года, меня поразили.

Во-первых, он слишком хорошо был одет. Для Гапона, бывавшего ежедневно в голодных рабочих кварталах, это было некстати, резало глаз. Во-вторых, он весь как-то облинял. Был пришибленный, беспокойный. Взгляда моего не выдерживал. Щупал меня глазами, но со стороны, так, чтобы я не заметил.

— Потом мы все-таки поедем в Яр. Настроение у меня плохое. Хочется немного развлечься.

— Зачем же обязательно в Яр? Можно здесь посидеть.

— Я этого кабака еще не знаю. Хочу посмотреть. И чего ты

упираешься. Хочу с тобой вечер провести. Ты ведь понимаешь, что неловко, раз я пригласил уже людей.

— Ладно, там видно будет.

Гапон сидел в кресле, подперев рукою голову, совсем расслабленный.

Расставаясь с ним, я сказал, между прочим, что пойду купить себе пальто.

— Дорогое купишь пальто?

— Рублей в 35.

— Такое дешевое? Хочешь, я куплю тебе хорошее пальто?

— То есть как это ты купишь мне пальто?

— Ну подарок. Ну, хочу купить тебе **хорошее** пальто (он подчеркнул слово "хорошее"). Понимаешь? Ну, подарок, что ли.

Я отклонил неуместный подарок.

Вечером, в 9 часов, после длинного предисловия об узости взглядов некоторых товарищей (революционеров) о том, что надо делать, что из всех товарищей он ценит только меня одного, что когда лес рубят, щепки летят и т.д., он взял с меня слово, что все, что сообщит мне, останется между нами, так как это большая тайна.

Не подозревая ничего особенного, я обещал.

Рассказал Гапон следующее.

{33} Он приезжал в Россию три раза. **Первый** раз в августе 1905 г. (Тогда он до России не доехал. Был только в Финляндии. Заявление в печати, что он провел тогда три месяца среди крестьян и рабочих, — неправда. П.Р.)

Второй раз он приехал ненадолго после манифеста 17 октября 1905 г. и **третий** раз — в конце декабря 1905 г.

Во второй его приезд, т.е. после 17 октября, некоторые либералы: Струве, Матюшинский и другие — стали хлопотать у Витте об его (Гапона) легализации и об открытии 11 отделов. Особенно хлопотал о нем Матюшинский, бывший много лет с.-д. и с.-р. и имевший большие связи. Витте не соглашался.

Раз Матюшинский познакомил его с чиновником особых поручений при Витте, Мануйловым, который сообщил, что Витте очень беспокоится о судьбе Гапона. Он ценит гениальные способности Гапона, и ему будет крайне тяжело, если Гапона арестуют. Дурново настаивает на его аресте. Пребывание Гапона в Петербурге очень опасно. Этот арест принесет большой вред рабочему делу. Граф Витте просит его, для его же пользы и для пользы рабочих, уехать из Петербурга.

После долгих переговоров с Мануйловым, "бывшим агентом Плеве в Париже", пояснил Гапон, пришли к следующему соглашению: правительство через Мануйлова выдаст ему паспорт. За это Витте обещает:

1) открыть отделы, 2) возместить причиненные в январе отделам убытки в сумме 30.000 рублей и 3) недель через шесть легализовать Гапона.

Около 24 ноября (точно числа не помню) Гапон уехал за границу, уполномоченным по всем делам оставил Матюшинского.

Решение это было принято Гапоном не единолично, а по совещанию с "организационной комиссией" (Возобновившейся гапоновской рабочей организацией.)

Отделы были открыты. Были затрачены большие деньги на их отделку. Но во время московского восстания их опять закрыли.

Не дождавшись шестинедельного срока, Гапон вернулся в Россию, около 25 декабря 1905 г. Причиной этого преждевременного приезда Гапон выставляет усиленную за ним слежку в Париже и некоторые другие соображения, которых мне не сказал.

Вернувшись, он узнал, что Витте обещаний своих {34} не сдержал. Отделы хотя были открыты, но немедленно были закрыты. Вместо 30.000 рублей выдано только 7.000.

По поручению Витте делом о гапоновских организациях заведывал министр торговли Тимирязев. К нему была отправлена депутация от рабочих за объяснениями. Тимирязев сообщил, что деньги выдал полностью, и показал расписку Матюшинского в получении всех 30.000 рублей. Относительно отделов сказал, что Дурново не разрешает их открыть.

Оказалось, что Матюшинский скрылся с 23.000 рублей. За ним в погоню послали рабочих Кузина и Черемухина.

При следующем свидании Гапона с Мануйловым тот объяснил, что Витте ведет борьбу с Дурново за отделы, что отделы теперь — кабинетский вопрос. Дурново сказал, что подаст в отставку, если откроют отделы. Мануйлов еще прибавил, что теперь этим делом ведает Дурново и что с Гапоном хочет повидаться правая рука Дурново — Рачковский, вице-директор департамента полиции.

Гапон на свидание согласился.

Оно было назначено в отдельном кабинете в ресторане. (Всех свиданий Гапона с Рачковским в отдельных кабинетах до 6 февраля было четыре: одно у Контана, два у Кюба, одно у Донона. В каком ресторане какое из свиданий — не знаю.)

Рачковский выразил большую радость представившемуся случаю встретиться с таким талантливым человеком, как Гапон. Гапон прибавил: "Рачковский сразу поддался моему обаянию. Ты ведь знаешь, я людей знаю хорошо и видел это ясно".

Рачковский сказал, что говорит от имени Дурново и что все, что говорит он, есть в то же время мнение Дурново. По вопросу об открытии отделов дело обстоит очень туго. Дурново считает отделы очень опасными и присутствие Гапона в Петербурге совершенно нежелательным при настоящем положении вещей. (Это свидание происходило в конце декабря или в начале января 1906 г.)

Все, и Дурново, и Трепов, считают его человеком талантливым и в то же время опасным. Они говорят, что Гапон 9 января устроил революцию на глазах у правительства, и боятся, что теперь он выкинет что-нибудь подобное.

Гапон успокаивал Рачковского. Он говорил, что {35} имеет в виду только профессиональное движение. Взгляды его на рабочее движение изменились. Оно должно развиваться мирно. Относительно вооруженного восстания и прочих кровавых мер он, Гапон, теперь мнения свои изменил. От крайних взглядов, высказанных им в прокламациях (напечатанных Гапоном после 9 января), он отказывается и жалеет о них.

Рачковский указал на то, что правительство никаких гарантий в этом не имеет. Он просил написать Дурново письмо и изложить в нем все сказанное.

Рачковский совершенно согласен с Гапоном относительно постановки рабочего дела и теперешнего положения России.

Гапон письмо писать отказался (так он говорил). Тогда Рачковский

сказал, что без такого письма нечего и говорить о новом открытии отделов. На государя прошлогодние гапоновские прокламации навели мистический ужас, и во всем, происходящем теперь в России, он винит Гапона. Дурново необходимо явиться с каким-нибудь оправдательным документом к государю при докладе по этому делу.

Гапон написал Дурново.

Это было около 15 января 1906 г.

(Я просил Гапона прочесть мне черновик, если у него есть. Он ответил, что оставил в гостинице, а на следующий день принесет и прочтет.)

Рачковский взялся передать письмо Дурново и просил у Гапона разрешения прийти на следующее свидание с крайне интересным и талантливым человеком, Герасимовым, начальником петербургского охранного отделения. Трепов о нем необыкновенно высокого мнения, считает его самым талантливым человеком в департаменте полиции. А Герасимов очень желает повидать Гапона.

Гапон разрешил.

На этом рассказ Гапона должен был оборваться.

Было уже поздно. Гости, которых Гапон пригласил ехать в Яр, были в сборе и давно уже нетерпеливо стучались в дверь, предлагая кончить "серьезные разговоры".

Я опять отказался ехать. Но Гапон настаивал. Даже обиделся.

Я видел, что он рассказывает мне не все. Многого я не понимал. Многого я не знал еще. А узнать и понять надо было все, во что бы то ни стало. Интересно было {36} посмотреть его в кабаке. Может быть, даже пьяным. Почему он так настаивает? Я согласился.

Поехали в Яр на тройке.

Ехать пришлось Пресней среди пепелищ. По обеим сторонам стояли остовы домов, без крыш, без окон, — домов, от которых остались обломки стен, продырявленных пушечными ядрами. Улицы пусты. Только городские на постах с виновками. Попутчики-москвичи указывали, откуда стреляли из пушек, где больше всего было убитых. Рассказывали отдельные эпизоды, происходившие на том или другом месте, где мы проезжали. Нервы напрягались. Но я с большим вниманием следил за Гапоном. В дороге он много курил, почти ничего не говорил. Дамы его постоянно тормозили, чтобы вывести из апатии. За городом он ударился из одной крайности в другую: стал свистать, гикать, но скоро опять умолк.

Приехавши в Яр, он предложил пойти в общий зал. Я запротестовал. Взяли кабинет. Просидели несколько минут. Гапон был недоволен. Наконец, он решительно заявил, что надо идти в общий зал.

— Там музыка, там женщины, там телом пахнет.

Такое заявление меня заинтересовало. Я махнул рукой на конспирацию.

В общем зале сели в переднем углу, направо от двери, около оркестра.

Пил Гапон мало. Был совершенно разбит. Часто укладывал руки на стол и голову на руки. Подолгу оставался в таком положении. Потом поднимал голову, надевал пенсне и рассматривал зал. Я думал тогда, что он изучает "женщин". Позже убедился, что кроме "женщин" он в зале **видел и еще кого-то**. Он снимал пенсне, опять укладывал голову с каким-то бессильным отчаянием на руки, опять поднимал ее и, обращаясь

ко мне, говорил:

— Ничего, Мартын, все хорошо будет. Несколько раз обращался к сидевшей рядом с ним даме:

— Александра Михайловна, пожалейте меня.

Я всеми силами старался скрыть все более и более овладевавшие мною отвращение и ужас.

На следующий день, 7 февраля, Гапон прочел мне черновик письма к Дурново, о котором он говорил накануне.

Кроме взгляда на настоящее положение России, на необходимость профессиональной рабочей организации {37} и открытия 11 отделов, там говорилось о необходимости вернуться к началам манифеста 17 октября, давалось объяснение событиям 9 января 1905 г. В этом письме говорилось также о святости для Гапона особы государя.

Предательства в письме я не заметил. Но соответствует ли этот черновик оригиналу — не знаю. Во всяком случае, думаю, что в гостинице он черновика не оставлял.

Гапон продолжал прерванный накануне рассказ.

Следующее свидание с Рачковским происходило уже в присутствии жандармского полковника Герасимова, опять в отдельном кабинете. Герасимов был в штатском платье.

Свидание началось с того, что Герасимов также высказал Гапону свое удивление и восхищение. Закусывали стоя. Герасимов изловчился и, под видом выражения своих приятельских чувств, ощупал карманы пиджака Гапона и даже похлопал его по задней части тела, чтобы убедиться, что у Гапона нет револьвера. Все это Гапон мне продемонстрировал. Гапон рассказал это в доказательство того, как они "осторожны".

За обедом Рачковский передал впечатление, которое произвело письмо на Витте и Дурново.

Витте сказал: "Гапон хочет меня вы...ать, но это ему не удастся".

Дурново, дойдя до фразы, где Гапон, излагая события 9 января, говорит, что особа государя для него священна, но интересы народа также, рассвирепел и швырнул от себя бумагу.

Вообще, отношение и Витте, и Дурново, и Трепова к Гапону недоверчивое. Они боятся его, — опять что-нибудь устроит.

— Ведь вот вы говорите, что теперь у вас никаких революционных замыслов нет; вы бы нам доказали это как-нибудь.

Рачковский говорил, что правительство находится в крайне затруднительном положении: нет талантливых людей. А о таких, как Гапон, и думать нечего. Рачковский ломал руки и дрожащим голосом говорил:

— Вот я стар. Никуда уже не гожусь. А заменить меня некем. России нужны такие люди, как вы. Возьмите мое место. Мы будем счастливы.

Говорилось о больших окладах, о гражданских чинах, полнейшей легализации Гапона и об отделах.

— Но вы бы нам помогли. Вы бы нам рассказали {38} что-нибудь. Осветите нам положение дел. Помогите нам.

Рачковский сослался на исторический пример искреннего раскаяния бывшего народовольца Льва Тихомирова. Гапон должен доказать правительству, что оно может ему доверять.

Гапон ответил, что ничего не знает.

Ему возразили, что это немыслимо для такой личности, как Гапон. Он сталкивался с массой людей за границей и в России.

— Расскажите нам, что вы делали за границей, с кем встречались. Докажите вашу искренность. Тут Гапон уклонился в сторону.

— Ты понимаешь, — обращался он ко мне, — надо смотреть шире, надо дело делать. И при Народной Воле там служили и все выдавали товарищам. Лес рубят — щепки летят. Дело важнее всего. Если там пострадает кто-нибудь, это пустяки. Положение такое, что надо его использовать. Раньше я был против единичного террора, теперь за единичный террор. Надо им отомстить. Витте и Дурново — это одно и то же. Они только политику ведут такую, что во всем виноват Дурново, а Витте добрый. Знаю, что там провокация или что бы про нас ни сказали... Пустяки. Надо смотреть широко. Верно я тебе говорю?

— Ладно. О ком они тебя спрашивали?

— Спрашивали о Бабушке и Чернове. Я сказал, что знаю их. Но больше ничего не сказал.

— Еще о ком спрашивали?

— О тебе спрашивали, — бросил он небрежно и замолчал.

Я сидел в это время за столом, он ходил по комнате, поглядывал на меня и ухмылялся.

Я молчал, ждал, что будет дальше.

— Ей-богу, спрашивали.

— Что же спрашивали?

— Да ты, должно быть, неосторожно держал себя с рабочими. Тебя за Нарвской почти все в лицо знают. Кто-нибудь из рабочих и выдал. Между ними ведь много провокаторов. С рабочими надо быть осторожнее.

И опять замолчал. Ходит и молчит. Время от времени на меня поглядывает.

— Так о чем же они спрашивали?

— Ды, ты боевыми дружинами, что ли, занимался. Мы, говорят, знаем, да изловить не можем. Хорошо, говорят, прячешься. Два раза арестовывали тебя, да улик никаких не было. Пришлось освободить.

{39} Помолчав некоторое время, он опять начал:

— Они говорят, что ты очень серьезный революционер. Что через твои руки большие деньги, должно быть, проходят. Они знают, что ты на рысках разъезжаешь, кутишь. (Короткое молчание.) Главное, понимаешь, не надо бояться. Грязно там и прочее. Но мне хоть с чертом иметь дело, не то что с Рачковским. От них узнать сколько можно.

— Еще что спрашивали?

— Спрашивали про наши отношения. Я сказал, что ты мой первый друг. Про 9 января спрашивали. Как все тогда произошло. Они все знают. Вообще, к тебе с уважением относятся. Серьезный человек, говорят.

— А ты что же?

— Я подтвердил. Очень серьезный человек, сказал.

— А когда про боевые дружины спрашивали, что ты ответил?

— Сказал, что боевые дружины для него пустяки, но что человек серьезный. А про Павла Ивановича и Ивана Николаевича (Иван Николаевич, как известно, кличка Азефа. Павел Иванович — кличка Савинкова.) ничего не спрашивали, — вдруг спохватился Гапон. — Я ничего и не сказал, конечно.

В том, что спрашивали, я не сомневался, не сомневался и в том, что он сказал и про них все, что мог. А сказать Рачковскому он мог и про

партии, и про отдельных лиц, потому что за границей к нему, особенно в первое время, относились с доверием. Так как он постоянно бывал среди товарищей, то узнавал и многое конспиративное.

— Когда я им сказал, что в очень близких с тобой отношениях, они вдруг сказали: "Вы бы нам вот этого соблазнили"... Ей-богу, так, сукины дети, и сказали. (Ухмыляется.) Про Боевую Организацию расспрашивали. Я сказал, что ничего не знаю. Они не верят. Но я так сказал, как будто знаю. Они ее очень боятся. Я сказал, что для этого большие деньги нужны. Не меньше ста тысяч. "Хорошо", — говорят. Я тогда сказал, что они должны делать все, что я им скажу. Обещали. Рутенберг не должен быть арестован, говорю. Обещали. Тебе нечего теперь их бояться. Тебя не арестуют. Ты мне верь. Прямо поезжай в Петербург. Главное, нечего бояться повидаться там, поговорить. Ведь это пустяки. Для меня дело важнее всего.

Гапон еще долго говорил, доказывал, рассказывал.

{40} А я его слушал и изредка вставлял тот или другой вопрос.

Все свелось к тому, что он взял на себя поручение узнать и выдать "заговор против царя, Витте и Дурново". Для этого "соблазнить" меня в провокаторы.

Гапон рассказывал все это под видом "плана": использовать свое положение с революционной целью. Но он путал. Вначале он говорил о терроре и о необходимости поскорее повидаться с Павлом Ивановичем и Иваном Николаевичем (он считал их, как и меня, членами Боевой Организации). Гапон должен войти в состав Б.О. на равных с нами правах и все знать, "не так, как в Женеве". А там можно будет использовать его положение: узнать про Витте и Дурново.

Дело в том, что Витте и его приближенные, как Мануйлов, хотели бы, чтобы убили Дурново. А Рачковский и Дурново были бы не прочь, чтобы убрали Витте. (Гапон забыл, что говорил мне: Витте и Дурново — одно и то же) На этой струнке он уже играл и узнал у Мануйлова, что Дурново ездит к своей любовнице М...й на Моховую улицу, д. №... (Фамилия и адрес у него записаны в памятной книжке.) Дальше можно будет узнать еще больше. Главное, не надо терять времени, повидаться с П. И. и И. Н. и вместе все обсудить. Я, со своей стороны, должен на них повлиять, чтобы они ему, Гапону, доверяли.

А потом все предприятие сводилось на деньги, и к концу разговора — исключительно на деньги. Без денег ничего сделать нельзя. Деньги — рычаг всего. Для этого необходимо повидаться с Рачковским и Герасимовым, иначе "они увидят", что он "ничего не знает", и "перестанут доверять" ему.

Когда он выражал желание видаться с П. И. и И. Н., он забыл, что брал с меня слово, что никто не узнает про наш разговор. Теперь он сказал, что хотел видаться с ними, и опять говорил: "Свидание с Рачковским останется в абсолютной тайне, и никто о нем не узнает". Мне нечего опасаться, да и свидание ни к чему не обязывает. Можно только поговорить, пообедать вместе в отдельном кабинете и разойтись.

— А едят они как хорошо, если бы ты знал! — вставил он неожиданно и махнул рукой. Помолчал:

— Конечно, сейчас ходить не следует. Надо обождать немного, недели две. Больше дадут. А то подумают, что ты сразу поддался.

{41} — Ты им сказал, что меня зовут Мартыном? — спросил я.

— Нет, боже сохрани.

— А они знают это имя?

— Не знают. Да ты не беспокойся. Верь мне. Горячо и гладко Гапон говорил только об общих планах, а факты излагал осторожно, непоследовательно, часто противореча себе. Мне приходилось вытягивать из него каждое слово. Он раздражался, жаловался, что я ему не доверяю. Я возражал и успокаивал его тем, что дело очень серьезное, а в серьезных делах надо все ясно понимать. Поэтому я и спрашиваю, когда чего-нибудь не понимаю. Я ставил прямые вопросы, он вынужден был отвечать.

Из разговора удалось выяснить, что Мануйлов устроил Гапону свидание с бывшим директором департамента полиции Лопухиным. Тот его уговаривал "осветить" положение.

— Вы только расскажите мне, не нужно писать ничего, только расскажите, что знаете. Я вам даю слово никому не сообщать рассказанного вами, покуда вы не будете удовлетворены.

Так говорил Гапону Лопухин. Свидание у них происходило в отдельном кабинете за обедом. Гапон об этом свидании не распространялся. Одну характерную фразу, сказанную им Лопухину, он привел:

— Если я вам скажу, я вам душу живую, все, чем силен был до сих пор, отдам. Я останусь, как Самсон, без волос.

Что он еще сказал Лопухину во время продолжительного и вкусного обеда, как Лопухин все-таки оставил его без волос и сыграл роль Далилы — я не знаю.

Когда Гапон взял на себя поручение "соблазнить" меня, он отправился к моей жене, узнал у нее, как меня найти в Москве, и сообщил об этом по телефону Рачковскому. Сказал, что едет ко мне в Москву. И в Яре, когда я сидел с Гапоном в общем зале, очевидно, был агент Рачковского, засвидетельствовавший лично, что свидание состоялось.

Гапону показывали фотографические снимки с собственноручных писем **Сокова** к японскому посланнику в Париже. Письма были выкрадены из стола посланника и сфотографированы. В них дается точный отчет израсходованных сумм.

{42} — Показывают и говорят: вот вы какие, революционеры. На японские деньги революцию в России разводите. Как увидал, весь затрясся. Слава тебе, господи, думаю (широко крестится), что не касался этих денег. А там написано: "С.-Р. 100.000". Слава тебе, господи (опять крестится).

— На каком языке написано письмо?

— На французском.

— Ты ведь ничего не понимаешь по-французски.

— Там было написано: "С.-Р. 100.000". Сам видел.

— Но ты ведь получил от **Сокова** 50.000? Как же ты говоришь, что не касался этих денег?

Гапон смутился. Он думал, что я не знаю этого. Деньги он получил летом, когда меня за границей не было.

— Нет, я их получил не от **Сокова**, а от американки, из рук в руки. **Соков** к этим деньгам никакого касательства не имеет.

(50.000 франков Гапон получил, по словам **Сокова**, в три приема, и первую часть лично от **Сокова**, для рабочих и революции, конечно.)

— Хочешь, я освобожу твоего брата (брат мой сидел тогда в

Крестах)? — предложил Гапон.

Он и о брате знал. Все средства для моего "соблазна" предвидены. Я отказался:

— Он молодой еще. Ему полезно посидеть в тюрьме.

— Да ведь это пустяки, — убеждал он меня. — Сделаю, как только приеду в Петербург.

Я все-таки отказался от этого доказательства дружбы.

— Знаешь, хорошо бы потом взорвать департамент полиции, со всеми документами, — сказал он, задумавшись.

— Зачем?

— Ну как же, там ведь много разных документов про разных лиц. Данные там разные для суда и прочее, — продолжал он уже упавшим голосом, поглядывая на меня исподлобья, стараясь придать деловой революционный смысл неосторожно произнесенной вслух мысли.

— Я знаю, что все дела имеются в копиях в жандармском управлении, у прокуратуры.

— Правда?

{43} — Ты никому не говори про то, что я тебе рассказываю. Давай вдвоем дело делать.

Я ответил, что не могу не рассказать товарищам. Надо посоветоваться, как использовать создавшееся положение.

Тогда он стал меня убеждать не говорить, а в крайнем случае затронуть вопрос только принципиально, но не упоминая его имени. А то начнут говорить, что он провокатор.

С Гапона струился пот. Он сильно волновался, нервно шагал по комнате. Я сидел и думал, как быть.

— Отчего ты на меня не смотришь? Посмотри мне в глаза; — останавливался он несколько раз.

Я подымал глаза, смотрел на него и видел, к ужасу моему, что передо мной действительно Гапон, — видел, что это не кошмар, а действительность. Он испытующе всасывался в меня глазами, поворачивался, опять ходил, опять останавливался, вглядывался в меня и спрашивал:

— Отчего ты на меня так смотришь?

— А как же мне на тебя смотреть?

— Смотри, я тебе все рассказываю, я тебе доверяю. Смотри! — загадочно-угрожающе говорил он и опять шагал по комнате, опять говорил.

Он настаивал, чтобы я сейчас же сказал, пойду ли к Рачковскому. Ему это "надо знать".

Я ответил, что подумаю. Еду в Петербург, там с ним повидаюсь. Дам ответ.

Мы оба были совершенно измучены. Я не в состоянии был дальше ни слушать, ни говорить и сказал, что должен выйти по делу. Гапон настаивал, чтобы я с ним остался до поезда, что ему очень тоскливо. Я отказался: занят. Он продолжал настаивать. Я сказал, что, если освобожусь рано, приду к нему. Но не рассчитываю.

Мы расстались.

Ночевать я должен был на той квартире, где мы с ним встречались. За этим домом и за мной началась слежка. Я решил остаться там ночевать, чтобы не подводить другой квартиры или мой паспорт. Я скоро вернулся туда и свалился на диван.

Часов в 8 вечера Гапон спросил по телефону, дома ли я. Ему ответили, что дома. Я должен был идти к телефону.

— Отчего ты не приезжаешь ко мне?

— Я болен, не могу.

— Пустяки, приезжай сейчас.

{44} — Не могу.

— Тогда я к тебе приеду.

— Приезжай. Молчание. Потом:

— Смотри, как бы ты не пожалел, что я к тебе приеду. Сейчас буду.

Жди меня.

Что означала эта фраза — я не знаю.

Гапон приехал. Я лежал на диване больной. Хозяйка за мной ухаживала.

Гапон начал с упреков, что я не вовремя раскис. Я объяснил, что простудился накануне.

— Ты смотри! Что-то с тобой неладно.

Он стал опять говорить о деле. Рассказывать товарищам я ни в коем случае не должен ничего.

Я ответил, что ничего не соображаю: болен.

Он опять уверял, что могу совершенно свободно ехать в Петербург. Не арестуют.

— А где теперь П. И. и И. Н.? — спросил он неожиданно.

— Не знаю.

— Ты меня не...и, — произнес он, разозлившись. Лексикон его обогатился выражением, которое, очевидно, часто употребляется в высших сферах департамента полиции. Гапон часто им пользовался для краткости и выразительности изложения своих мыслей. Зашла хозяйка, сказала, что пора ехать к поезду. Он спросил, как меня найти в Петербурге. Я сказал, что куда не знаю.

Свой адрес — Успенский переулок № 7, кв. 13, Петр Николаевич Гребницкий — он дал мне еще раньше.

Мы попрощались. Вид мой ничего хорошего ему, должно быть, не предвещал. Последние его слова были с раздумьем:

— Пожалуй, лучше было бы, если бы я тебе ничего не рассказывал.

Я принял все меры к тому, чтобы выехать из Москвы, а главное — приехать в Петербург без сыщиков, несмотря на высокую протекцию. По дороге в Петербург я прочел в газетах письмо Н. П. Петрова "Долой маску!" о Гапоне и тридцати тысячах рублях.

О деньгах, т. е. о 30.000, Гапон мне сказал, что знают только два человека. А о том, что он встречается с Рачковским, знает только один из них — рабочий. "И то не знает, в чем дело". Имен Гапон не назвал. А когда рассказывал о соглашении с Витте, говорил, что оно состоялось с одобрения всего комитета. Февраль 1906 г.

{45} В Петербурге я никого не застал. (Писано в июне 1909 г. Текст этого добавления в такой же приблизительно редакции находился у ЦК с лета 1906 г.)

Узнав, что Иван Николаевич (Азеф) в Гельсингфорсе, я поехал туда. Приехал с первым утренним поездом, кажется, в 7 часов утра, 11—12 февраля.

Рассказал все Азефу. Заявил ему, как члену ЦК, что, так как дело это касается партии, так как я член партии, я не считаю себя вправе распорядиться самостоятельно и жду распоряжений ЦК.

Азеф был удивлен и возмущен рассказанным. Он думал, что с Гапоном надо было покончить, как с гадиной. Для этого я должен

вызвать его на свидание, поехать с ним вечером на извозчике (рысаке петербургской Б. О.) в Крестовский сад, остаться там ужинать поздно ночью, покуда все разъедутся, потом поехать на том же извозчике в лес, ткнуть Гапона в спину ножом и выбросить из саней.

В то же утро со вторым петербургским поездом (в 10 часов утра) приехал Савинков. Он присоединился, по существу, к мнению Азефа о необходимости убить Гапона, но окончательное решение принято не было.

По словам члена ЦК Чернова, бывшего в то время в Гельсингфорсе, Азеф зашел к нему в тот же день после обеда, сообщил ему о моем приезде и о рассказанном мною и спросил его мнения. Чернов ответил Азефу, что при слепой вере в Гапона значительной части рабочих может создаться легенда, что Гапон убит из зависти революционерами, которым он мешал и которые выдумали, что Гапон — предатель. ЦК не может предъявить доказательств его сношений с полицией, кроме моих показаний о разговоре с Гапоном, присходившем с глазу на глаз. Самым подходящим решением вопроса Чернов считал убийство Гапона на месте преступления, т. е. во время его свидания с Рачковским.

На следующий день (или вечером того же дня) собрались все четверо: Чернов, Азеф, Савинков и я. На этом совещании Чернов поддерживал только что изложенную точку зрения, что одного Гапона убить нельзя, но что это надо сделать с обоими вместе: Рачковским и Гапоном, т. е. что я должен принять предложение Гапона, пойти вместе с ним на свидание с Рачковским, и там, в отдельном кабинете, убить их обоих.

{46} Азеф кончил тем, что присоединился к мнению Чернова, добавив, что его особенно удовлетворяет двойной удар: Гапон и Рачковский, так как он давно уже думал о покушении на Рачковского, но никак не мог найти средства подобраться к нему. Савинков и я считали, что убийство Гапона вместе с Рачковским желательно, но комбинация эта сложная и трудно достижимая, так как опытный полицейский Рачковский, считая меня террористом, не допустит меня к себе на основании одной только рекомендации Гапона. Савинков считал, что партия обладает достаточным авторитетом, чтобы заставить поверить себе, что Гапон действительно предатель.

Обсуждение вопроса тянулось несколько дней. Савинков остался при своем мнении. Не будучи членом ЦК и не имея, следовательно, права голоса, он подчинился высказанному мнению двух присутствовавших членов ЦК: Чернова и Азефа.

Предлагавшийся план был рассчитан на 2 - 3 свидания, так как в первое свидание меня могли бы обыскать раньше, чем подпустить к Рачковскому. И в это первое свидание я должен был вести с Рачковским "предварительные переговоры".

Я, с своей стороны, заявил, что не рассчитываю на себя в предлагаемой мне роли. Савинков с Черновым изобразили мне в лицах возможный разговор с Рачковским. Азеф в этой сцене не участвовал, а только время от времени их одобрял.

Я колебался, но в конце концов согласился. При более детальном обсуждении дела я обратил внимание на то, что, в случае неудачи, департамент полиции может воспользоваться разыгранной мною ролью для инсинуаций против меня. Все присутствовавшие возразили, что само собой разумеется, что партия всем своим авторитетом защитит мою честь от чьего бы то ни было посягательства при первой же к тому попытке.

Азеф предполагал, что совершение самого террористического акта должно быть сделано не мною лично. Но обсуждение дел привело к тому, что это необходимо.

Мне было поручено принять предложение Гапона и согласиться пойти с ним на свидание с Рачковским. В мое распоряжение был предоставлен член Б. О. **Иванов**. По плану Азефа, я должен был при помощи **Иванова** в роли извозчика и ряда частных извозчиков симулировать организацию покушения на тогдашнего министра внутренних дел Дурново. Цель этой {47} симуляции — заставить Рачковского, убедившегося при помощи установленного за мною полицейского наблюдения в том, что я руковожу террористическим предприятием в Петербурге, охотнее искать свиданий со мной. Всякие мои сношения с ЦК и другими партийными организациями я должен был прекратить, чтобы не навести на их следы полицию, которая будет за мной наблюдать. Мне было поручено записывать и присылать ЦК подробное изложение хода дела.

В случае удачи покушения и ЦК, и я должны были заявить, что ЦК постановил, а Боевая Организация мне поручила смыть кровью Гапона и Рачковского грязь, которой они покрыли 9 января.

Чернов и Савинков уехали. А Азеф занялся технической разработкой плана покушения, давая мне детальные инструкции: где, на каких улицах, в какие часы ставить извозчиков, в каких ресторанах бывать, как сноситься с ним (Азефом), как получить разрывной снаряд и пр. Весь план "симуляции" был настолько легковесен, что при практическом обсуждении его возможность неудачи вырисовывалась еще яснее.

Не могу сейчас восстановить в памяти моих разговоров с Азефом по этому поводу. Но факт тот, что он признал возможность неудачи и необходимость в этом случае убить одного Гапона. Так как всякие сношения мои с ЦК прекращались с моим отъездом из Гельсингфорса, то необходимо было все заранее предвидеть и заготовить также и для этого второго случая. Что Азеф и сделал. Он обратился к N-ам (революционная партия), изложил им положение дела, заявив, что в случае, если придется убить одного Гапона, это будет сделано в Финляндии, между Петербургом и Выборгом, где понадобится помещение, лошади и люди. Он спрашивал эту организацию, чем они могут нам помочь.

Я жил тогда в одной комнате с Азефом. В вечер, накануне моего отъезда в Петербург, к нам пришел **Фролов** и от имени ЦК N-ов заявил, что они решили предоставить в наше распоряжение, когда нам это понадобится, лошадь и двух человек. Помещение же достать нам не нашли возможным. Подробно я должен был условиться обо всем с их представителем в X., куда они уже послали человека предупредить тамошних товарищей о своем решении и о моем приезде.

Так как я не помнил в лицо указанных **Фроловым** двух человек и так как с моим отъездом всякие сношения и с ними у меня обрывались, мы условились, что один из этих людей, будущий извозчик, {48} в красном галстуке и с книжкой, завернутой в желтую бумагу, придет на вокзал провожать поезд, с которым я еду в Петербург. Так и было сделано.

В Петербург я приехал 21 или 22 февраля. В X. виделся с бывшим в этом городе представителем N-ов. Но тот мне заявил, что его местные товарищи обсудили постановление их ЦК и решили, вопреки этому

постановлению, что никакого участия в этом деле принять не могут. Это сообщение меня не остановило от поездки в Петербург, так как я считал, что организация убийства одного Гапона могла и не понадобится.

**Свидание в Териоках, на даче Питкинен,
24 февраля 1906 года, пятница, в 12 часов дня**

Гапон начал с упреков за то, что я так долго не являлся. Я объяснил важными делами, не дававшими мне возможности видеться с ним.

Я спросил о письме Петрова. Гапон стал кипятиться. Я вставлял время от времени вопросы. Он рассказывал отчасти уже известное мне из предыдущего свидания в Москве, отчасти новое.

Приехал он в третий раз в Петербург в сочельник 24 декабря 1905 г. Ему стали рассказывать, что Матюшинский ведет себя странно. Он поехал к нему с Варнашевым и спросил, сколько купец дал денег. Гапон и Матюшинский условились говорить рабочим, что 30.000 рублей дает "бакинский купец". Матюшинский ответил: 7.000 рублей.

— Но ведь вы говорили, что он дал десять тысяч?

— Да, но деньги дал рентой, рента пала. Гапон ничего не возразил, но послал Мануйлова (чиновника особых поручений при Витте) с Варнашевым к Тимирязеву. Тимирязев показал расписки Матюшинского в получении всех 30.000. Мануйлов с Варнашевым приехали от Тимирязева прямо на Владимирскую (д. № 3, правление гапоновского общества) и сообщили ответ его. Гапон тотчас же собрал бывших там членов комитета (Варнашев, Кузин, Карелин, Усанов, Иноземцев, остальных перечисленных фамилий не помню. — П. Р.) и рассказал о случившемся. Его дергали за полы: нельзя всем о таких вещах говорить. Но он ответил, что деньги брал для рабочих, деньги эти народные и он не боится. В свое время сам все опубликует.

Петров первый тогда призвал товарищей поклясться, что об этом никто не узнает. Послали за Матюшинским. {50} Его уже не оказалось дома. В тот же вечер он неизвестно куда выехал со своею, как выразился Гапон, любовницею.

Спустя некоторое время, Старцев, сотрудник "Новостей", сообщил Гапону, что его жена получила от любовницы Матюшинского письмо из Саратова. Отправили туда Черемухина и Кузина. Для легализации их действий Гапон поехал к Лопухину просить содействия сыскной и явной полиции в Саратове. Лопухин отчас телеграфировал туда своему ставленнику, какому-то полицейскому чину.

Арест Матюшинского, по словам Черемухина, произошел так. В 11 часов вечера к нему нагрянула полиция. Матюшинский смутился и спросил, есть ли у нее какие-нибудь полномочия. Открыли двери и ввели живые полномочия: Кузина и Черемухина. Матюшинский упирался. Пришлось его даже в участок взять. Но через два дня покончили дело миром. Матюшинский возвратил свыше двух тысяч. Остальные он перевел на имя Кузина.

Матюшинский поехал с Черемухиным в Петербург, а Кузин в Пронский уезд, повидаться с матерью. Его там арестовали за пропаганду среди крестьян, отобрали чек на 21.000 рублей и наличными 500 с чем-то.

Гапон ходил к Лопухину просить, чтобы его освободили (ходил до смерти Черемухина). Тот обещал.

— Этакая холява! У него (Кузина) там много знакомых крестьян. Поехал агитацией заниматься и сел с чеком.

— Почему ты обратился к Лопухину, а не к Рачковскому? — спросил я. — Лопухин ведь теперь никакого отношения к полиции не имеет.

Гапон сбивчиво объяснил, что боялся, что Рачковский арестует эти деньги.

По мнению Галопа, Петров устроил скандал — опубликовав о сношениях с Витте и о 30.000 — потому что нуждался в деньгах, а ему не давали. Товарищи иногда гуляли, а его не приглашали. Человек он завистливый. Петрова задело, что Гапон охладил к нему. "Вообще Петров подлец и клятвопреступник". Находится под влиянием жидовской клики социал-демократов: Мар...а, жены Дм...ева — еврейки и других.

(Все, что здесь говорится, — слова Гапона. Я этих людей не знаю. А о Петрове, в частности, слышал одно лишь хорошее. — П. Р.)

Рабочие Гапону безусловно доверяют, не обращают внимания на газеты. Вчера вечером писатель Симбирский {51} читал доклад о нем в клубе (Демидов переулок). Многие выступали против Гапона, но все рабочие и сам Симбирский его защищали.

Симбирский — сотрудник "Слова".

Григорьев, товарищ Петрова, — шпион. Все узнавал, когда Петрова не бывало на собраниях, и сообщал ему.

— Я даже думаю, что он в полиции служит. Оба подлецы. А то, что Петров вчера написал в "Биржевых Ведомостях", — ложь.

В субботу 16 февраля было собрание под председательством Гапона.

— Я произнес страстную речь. Напомнил кровь товарищей, убитых 9 января. Атмосфера сгустилась. Я чувствовал, что что-то сейчас должно случиться. Молния заблестит, гром грянет. А как раз после меня пришлось говорить Черемухину. Я же ему револьвер дал. Он парень честный, хороший. Он решил убить Петрова. В тот же вечер он мне сказал: "Решено", т. е. что убьет его как изменника. Сидел он против меня на другом конце стола. Поднимается и вдруг заявляет: "Нет правды на земле!" — и трах — раз, два, три. Последнюю пулю прямо в лоб себе поставил и спустил. Здоровые парни около него сидели, но от неожиданности не успели помешать. Я бросился к нему. Рабочие меня обступили, схватили за руки и часа полтора упрашивали, чтобы я не убивал себя.

Гапон рассказывал с большим жаром и жестикуляцией.

Походив немного по комнате, добавил спокойно и смеясь:

— С чего они взяли, что я хотел себя убить? Опять ходит и, став уже серьезным, продолжает:

— Полтора часа убеждали. Я заставил их поклясться (нахмурил брови) над телом товарища, что они всю жизнь будут служить рабочему делу. И только тогда сказал, что не наложу на себя руки. Да, трагическая была картина, Мартын.

Вот новые подробности.

Первое свидание Мануйлов устроил Гапону (в ноябре) с Лопухиным, а потом уже с Рачковским.

Под новый год (1906) в Териоках у Гапона было собрание рабочих в 110 человек, которые подтвердили все его права и полномочия, которыми он пользовался до 9 января. Это было уже после свидания с Мануйловым.

Летом, когда Гапон был в Финляндии, он поручил {52} рабочему П. следить за Григорьевым и взял с него клятву, что, если бы Григорьев

оказался человеком вредным для гапоновской организации, — убить его. П. эту клятву дал.

— Теперь я решил требовать общественного суда. Я написал профессору Грибовскому об этом. Образовалось уже посредническое бюро. Туда вошли, кажется, Милюков, Иорданский и еще кто-то. Они будут организовывать суд. Я просил, чтобы туда вошли представители всех прогрессивных партий: и Союз 17 октября, и с.-д., и с.-р. — все, кроме реакционных. Пусть судят. Пусть докажут, с документами в руках, что я провокатор, что я предатель. Моя совесть чиста. Кого я предал, пусть скажут. Деньги брал? Деньги эти народные, и я считаю, что можно всеми средствами пользоваться для святого дела. Провел правительство до 9 января и теперь хотел. Сорвалось! Что про меня могут сказать? Ну ты бы рассказал все, что я тебе рассказывал. Ну что же? Находился в сношениях с правительственными лицами, имея в виду пользу народа.

Меня интересовало, находится ли он и теперь, особенно после смерти Черемухина, в сношениях с Рачковским.

— Ты виделся с Рачковским после Москвы? — прервал я его.

Возбуждение, с, каким он только что говорил, сразу упало.

— Да.

— Сколько раз?

— Один только раз.

— Когда?

— Дней шесть тому назад. Когда приехал из Москвы, эта история с Петровым на меня навалилась. Не мог пойти к нему.

До сих пор Гапон ходил по комнате. Теперь он лег, вялый, разбитый, на постель.

— До или после смерти Черемухина?

— Не помню.

Я его заставил подсчитать точно. Оказалось **после**. Еще точнее. Оказалось — **на следующий** день. Черемухин застрелился в субботу 18 февраля вечером, а Гапон в воскресенье утром в 10 часов телефонировал Рачковскому: можно ли им повидаться. Тот ответил "да", и назначили свидание за завтраком в отдельном кабинете у Кюба в 12^{1/2} часов. Гапон {53} пришел. Татарин его ввел в кабинет, где уже стояла приготовленная для двоих закуска.

— О чем вы говорили?

— Да вот сказал, что видел тебя, что, может быть, вступлю в эсеровскую организацию. Но что покуда ответа не имею. Если да — хорошо, а нет — нам с ним придется разойтись.

— Говорили о Петрове?

— Говорили.

Гапон говорил неохотно.

— Сказал, что подлецы у меня товарищи. И в самом деле, разочаровался я в рабочих. Я не ожидал, чтобы между нами были такие предатели, как Петров.

— А о Черемухине говорили?

— Да.

— Что говорили?

— Да так, ничего особенного.

— Как ты вызвал Рачковского?

— По телефону.

— Где он живет?

— Не знаю.
— А какой номер его телефона?
— 14-74. Это, должно быть, его квартира.
— Как он узнает, что ты говоришь, а не кто-нибудь другой?
— Я называю себя Апостоловым.
— А он?
— Просто Иван Иванович.
— Он тебя так же хорошо принял, как и раньше?
— Конечно. Но он думает, что партии теперь меня не примут к себе.
— Значит, он тебя больше не примет?
— Отчего?
— Оттого, что ты ему ничего больше сообщить не можешь.
— Да, я с ним так и разошелся. Не знал твоего ответа.
— Но Рачковский убежден ведь, что от тебя ему теперь никакой пользы нет. Зачем же он станет ходить к тебе на свидание?
— Он интересуется теперь сведениями. Все уговаривает меня поступить к нему чиновником особых поручений.
Молчание.
— А зачем ты спрашивал номер его телефона? — вдруг вскочил он с постели и стал горячиться. — Только ты мне правду говори. Ты меня все допрашиваешь.
{54} — Спросил потому, что интересно.
— Зачем тебе?
— А хотя бы для того, чтобы убить его. Молчание.
— Не беспокойся; не стану пачкаться с ним. С Рачковским если и иметь дело, то только для того, чтобы деньги получить с него.
— Это верно, — опять оживился он и со странной улыбкой продолжал: — Он недавно получил от государя семьдесят пять тысяч рублей.
— Сколько он даст, если я приду к нему обедать? Рублей пятьсот?
— Три тысячи даст, — уверенно возразил Гапон.
— Чтоб я к нему за три тысячи пошел?
— Ну пять тысяч даст.
— Он сыщик и...
— Что ты, брат, сыщик? — проговорил Гапон пониженным голосом и с подбострастием, изобразив как-то своей фигурой, головой, туловищем, особенно глазами, что-то отвратительное. — Он — действительный статский советник.
— Знаю. Директор департамента полиции.
— Старше. Директор, заведывающий политическими делами в России.
— За одно то, что я с ним пообедаю, он должен дать двадцать пять тысяч; меньше не пойду.
— Десять тысяч даст, пожалуй. Ты вот что. В воскресенье иди прямо к Кюба. Я его предупрежу.
— Но ведь он меня не примет, если тебе больше не доверяет.
Разговор принимает деловой характер.
— Он мне доверяет.
— Разве он не боится меня?
— Он мне поверит.
— Но он ведь не может допустить, чтобы революционеры с тобой теперь дело имели?
— Если ты придешь, он поверит. Потом надо ему дать что-нибудь.

— Что дать?

— Ну там бомбы, планы какие-нибудь, зашифрованные письма.

— А люди?

— Людей можно предупредить. Вот ты говоришь, у тебя дело на руках сейчас. Если ему рассказать, много денег даст.

— Пусть вперед даст. А то расскажу, а он меня и деньги арестует, как твоего Кузина.

{55} — Что ты, что ты! Он этого никогда не сделает.

Я не мог принять свидание с Рачковским немедленно. Надо было закончить предварительные приготовления. Поэтому условился с Гапоном встретиться тут же в воскресенье утром, 26 февраля, чтобы окончательно сговориться. А до тех пор мне надо подумать.

— Только смотри не опаздывай. Вообще, если хочешь дело делать, не затягивай. А то одна ерунда выйдет, — сказал он.

— Не опоздаю!

В воскресенье все еще не мог принять свидание. Иванов не успел еще обзавестись извозчицей справой и стать на условленное место. Поэтому послал сказать Гапону, что не приду к нему и вызову в другой день.

ОТВЕТ 3

Свидание в среду, 1 марта, в 12 часов дня,
на даче Питкинен в Териоках

У Гапона в комнате была его жена. Поэтому мы пошли в избу хозяйки. Начал Гапон с того, что он теперь окреп духом, что хотя суд товарищеский или общественный очень опасен, но он все-таки решается. Присяжный поверенный Марголин взялся защищать его дело и уверен, что Гапона оправдают. Два суда будут: коронный, против "Нового Времени" за клевету, и общественный, которому он все расскажет.

— Марголин у меня спрашивал сказать ему по совести, взял ли я хоть часть денег. Я ему дал слово, что не брал, ну ни полушки. Я ему все рассказал, решительно все.

— Все?

— За исключением последнего, конечно. Гапона съезило от моего вопроса. Он старался вернуться к прежнему разговору и тону и понемногу оживился.

— Марголин говорит, что наверное оправдают. Вся социал-демократическая жидовская клика рада, потому что с моим падением они выигрывают. С.-р. тоже нападают на меня. Рабочему делу это приносит страшный вред. На днях на Балтийском заводе наши рабочие поранили шестерых социал-демократов. Я хотел устроить новое 9 января, еще большее. Сорвалось!

Я свел разговор на сношения с Рачковским. Оказалось, что первые два свидания с ним Гапон имел у Мануйлова на квартире. Речь шла исключительно об отделах. Во время второго свидания, когда Мануйлов вышел из комнаты, Рачковский сказал Гапону: "Этот Мануйлов — балда! С ним не следует иметь никаких дел". Он дал Гапону номер своего телефона и предложил воспользоваться им в любое время.

{57} — На следующий день я спросил его по телефону:

"Как отделы?" Он ответил: "Для этого нам с вами надо повидаться лично". Назначили свидание в ресторане. Тут он ко мне и стал подъезжать. А я тут же подумал, сию же минуту: "Ты так, а я тогда вот как". Ну и сказал, что ничего не знаю, но так сказал, как будто много знаю. Но я ничего не сказал, **ни единого слова**. Я всегда говорил и теперь думаю, что, если бы кого-нибудь предать, так самому себе должен пустить пулю в лоб. Разве я предатель? Дурново даже сказал Рачковскому, что "ты, говорит, дурак. Разве ты не видишь, что Гапон тебя за нос водит? Виделся с Рутенбергом в Москве и не сказал тебе даже его адреса". **Ни единого слова** не сказал ему.

Я их надуть хотел, устроить новое, еще большее 9 января. Это верно. Что же здесь предосудительного? У меня были широкие планы. Через Мануйлова пробраться к Витте, через Рачковского — к Дурново. Он ведь мне предлагал, не хочу ли я представиться Дурново. И я бы сделал дело. Забрался бы в берлогу и одним взмахом уничтожил бы их всех. Сам бы убил Дурново. Ей-богу... сам. Конечно, вовремя, в известный момент. А тут, значит, отделы, опирался бы на массы. Я широко смотрел. Сорвалось! А жидовская клика ругает меня предателем, провокатором, вором. Пусть докажут с документами в руках, кого я

предал, что украл. Комиссия Грибовского должна изображать прокуратуру. Они должны составить обвинительный акт. Значит, взять на себя нравственную ответственность за выставляемые обвинения. А материалу нет. Нету! (Смеется.) А с правительственными чиновниками сношения имел: для пользы народного дела, а сказать им ничею не сказал, ни единого слова. Я же тебе сказал, что Дурново обругал Рачковского дураком. Даже адреса твоего им не сказал.

— А после того, как я у тебя был, виделся с Рачковским?

— Нет.

— Значит, после Москвы ты видел его один только раз?

— Да, только один.

Гапон сказал неправду. Вот почему. Он виделся с Рачковским 19 февраля, на другой день после смерти Черемухина, рассказал ему результат свидания со мной в Москве. Рачковский об этом и доложил Дурново, тот обругал его дураком. Чтобы Гапон мог это узнать, он должен был видеть Рачковского еще раз.

{58} История с адресом придумана неудачно. Адрес мой, т. е. место, где мы встретились с Гапоном в Москве, стало известно полиции тотчас же. За мной тогда же начали следить.

Ни Лопухин, ни Мануйлов не знают будто бы о том, что Гапон встречается с Рачковским. Когда они спрашивали Гапона об этом, он отвечал, что больше с Рачковским не виделся.

Перешли к делу.

Я высказал принципиальное согласие повидаться с Рачковским.

Это категорическое заявление было для Гапона неожиданным. Он как-то завозился, что-то пробормотал.

— Никто не знает об этом. Если кто-нибудь из товарищей узнает, я рискую головой. Не станут даже в объяснение со мной вступать, а просто пустят пулю в лоб за сношения с Рачковским.

— Этого никто не узнает.

— Свидание должно быть в отдельном кабинете. Кроме него никто не должен знать про мои с ним сношения.

— Конечно. Будь спокоен. До сих пор полиция никого из своих не выдавала. Революционеры выдавали. Тихомиров, например, даже С-нов, говорят, выдавал.

— Ладно.

— Только ты не беспокойся. Полиция не выдаст.

— Конечно, не выдаст. Ей невыгодно. Никто к провокатору не пойдет.

— Ну да. А насчет денег как?

— Двадцать пять тысяч, как я уже тебе говорил. Наличными в пакете или ассигновкой. За то только, что пообеду с ним, узнаю, чего он хочет.

— Это хорошо. Надо все знать точно.

— Никакой слежки за мной чтобы не было.

— Само собой разумеется. Вот ты говоришь: двадцать пять тысяч. Если бы ты рассказал про дело, которое у тебя на руках, можно было бы получить не двадцать пять тысяч, а пятьдесят тысяч рублей.

— Двадцать пять тысяч только за то, что с ним пообеду. Узнаю, что ему нужно. Сказать ему в первый раз ничего не скажу. Надо будет подумать.

— Это верно. А то двадцать пять тысяч мало.

— Дешево себя не продам. Так и скажи ему. За все дело не меньше ста пятидесяти — двухсот тысяч рублей.

— Это верно. Но ведь я сказал сто тысяч.

{59} — То ты, а то я говорю.

— Но вот что. Он ведь может сказать: дашь тебе двадцать пять тысяч рублей, а ты его надуешь, ничего потом не расскажешь.

— Ты ему объясни: одним тем, что я приду обедать, я уже в ваших руках. Если товарищи хоть что-нибудь узнают — мне крышка. Гарантия достаточная. А с его стороны никакой гарантии. Я расскажу, а он денег не даст.

— Это верно.

— А ты что получаешь за то, что приведешь меня? — спросил я Гапона.

— Не знаю еще. Завтра поговорю.

Любопытный был вид у него. Растерянный, приниженный. Совсем не такой, как когда он говорил о суде и широких планах. Некоторое время мы оба молчали. Он ходил по комнате и думал.

— Видишь ли. Деньги большие. Могу я ему сказать определенно, что речь идет о Дурново? — спросил Гапон.

— Я тебе доверяю. Но ты понимаешь, что сказать этого не могу.

— Конечно, сам видишь, что я ничего не спрашиваю. Ни фамилий, ничего. Сам понимаю, что в таком деле иначе нельзя.

Решили: в пятницу 3 марта—свидание с Рачковским. Гапон предупредит его и переговорит предварительно. Я пришлю завтра в 5 часов к Гапону. Он передаст для меня записку, в которой будут: день, час, место свидания с Рачковским и пароль, как пройти. Больше ничего. Я в указанное место и время обязательно приду.

Характерное это было свидание. Когда Гапон рассказывает о суде, приводит оправдания против газетных обвинений, он сознательно играет, играя, увлекается и забывает, должно быть, про данные им Рачковскому "разъяснения", про взятые им на себя "поручения". Он повторяет, очевидно, передо мной те же "благородные" жесты, что и перед Марголиным, Симбирским и другими. А когда я неожиданно напоминаю о Рачковском, горбится, смотрит исподлобья, с опаской. Покуда не втянется в "деловой" разговор.

Прежде чем расстаться, он не забыл все-таки прикрыться "на всякий случай" фиговым листом:

{60} — Главное, надо смотреть на вещи широко, не односторонне. Если скажем, дело какое-нибудь на мази, понимаешь, на мази, как у тебя, например, то лучше им пожертвовать, чтобы получить большие средства и потом поставить его еще больше и шире.

— Конечно.

Мы перешли в комнату его жены. Я уезжал в город позже их. Пришлось поэтому просидеть с ними с четверть часа. Я чувствовал себя отвратительно в присутствии этой простой, доверяющей Гапону женщины, очевидно любящей его. Она не верит газетным разоблачениям. И к суду он обратился под ее влиянием. Так я понял из ее слов.

2-го я послал к нему, как условились, с запиской. "Напиши результат твоего свидания М 2 — III 1906".

В 5 часов его не застали дома. Сказали, что Гребницкий (Гапон) будет дома только на следующее утро в 10 часов.

3 марта он передал мне несколько слов, написанных на моей же записке: "Завтра (суббота) ресторан Контан 9 часов вечера. Спросить г. **Иванова**".

4 марта.

В ресторан Контана я приехал в субботу в четверть десятого.

В этот вечер у Дурново был бал.

Не раздеваясь, спросил лакея, где кабинет Иванова. Тот бросился сломя голову, как и полагается в подобном учреждении, спрашивать.

Дверь в коридор была открыта. Я видел, как за дверью засуетились. Раздевальный лакей вернулся на свое место и сказал: "Сейчас узнают".

Вслед за ним подошел к дверям обер-кельнер, оглядел меня, спросил, большая ли должна быть компания. Я ответил: "Два человека".

— Сейчас спрошу.

Через минуту вышел высокий выхоленный молодой человек, спросил одеться. Очень внимательно меня оглядел. Потоптался больше, чем это ему нужно было, чтобы одеться, взбрасывая на меня глаза при каждом удобном случае, осматривая меня через зеркало, одел свою дорожную шубу и вышел.

Вслед за ним из того же коридора вышел обыкновенный сыщик (так хорошо знакомая фигура), всосался в меня глазами на ходу, так что они у него чуть не вылезли, прошел в раздевальную, оделся и, выходя {61} на улицу, опять так скопил глаза на меня, что мне его жаль стало.

Я обозлился, что заставляют ждать. Прикрикнул на лакея. Тот подошел к дверям коридора не торопясь, оттуда вышел сейчас же и сказал: "Должно быть, такого кабинета нет".

Я ушел.

Рачковский не рискнул встретиться со мною. Но на всякий случай поставил агентов "посмотреть и обставить".

Ни арестовать меня, ни особенно грубо следить за мною в этот вечер, по моим соображениям, не должны были. Для Рачковского, с его точки зрения, это было бы невыгодно.

По заранее составленному плану я принял меры к тому, чтобы остаться без "попутчиков".

ОТЧЕТА 4

Свидание 5 марта, вечером

В сравнении с тем, каким я видел Гапона в предыдущие разы, он оправился и был совершенно спокоен.

Вчерашнюю историю он объяснил недоразумением. Он "думал", что я сообщу, приду или нет; ждал, беспокоился очень.

Так как до 8 часов я его не известил, то он по телефону сказал Рачковскому, что я, вероятно, не приду.

— Почему ты сам не пришел на всякий случай? Ведь мы с тобой условились совершенно определенно: что я приду обязательно, когда получу твою записку. Ведь я головой рисковал.

— Я очень беспокоился. После восьми поехал с женой к Симбирскому. Вернулся и лег совсем рано, часов в одиннадцать, спать. Все время думал о тебе.

— А Рачковский в это время поставил сыщиков, чтобы меня "обставить".

— Он мне дал честное слово, что ничего не будет. Если бы тебя арестовали, я бы пулю себе в лоб пустил.

— О чем вы говорили?

— Так, решили, видишь, если свидание состоится, поговорить раньше с тобою, а потом, в зависимости от твоего ответа, он придет или нет. Он божится и клянется, что дело Леонтьевой и других арестованных весной двенадцати человек обошлось им всего в пять тысяч рублей. Сто тысяч даже за Дурново дать никак невозможно. В особенности при теперешнем положении финансов. Двадцать пять тысяч рублей — это хорошая цена. За все. И то ты должен ему сначала все рассказать. Твое соображение, что если ты к нему придешь, то ты уже у него в руках, неверно. Много есть людей, с которыми он видался, не сходилась — и ничего. Никто ничего до сих пор не знает. А они благоденствуют. Теперь почтенные члены общества. Так он говорит.

{63} (Смеется.) Двадцать пять тысяч — это хорошая цена. За одно дело. А за целый год можно заработать и сто тысяч. За четыре дела. Так он, сукин сын, говорит. (Смеется.) Понимаешь? (Продолжает смеяться, собственно, хихикать и совершенно меняет почему-то тон разговора.) Так меня подмывало пристрелить его. Чего же? Ведь нас только двое. Ведь я тебе рассказывал мои планы. Организовать массы в отделы. Все пошли бы. И теперь рабочие постановили платить самим за помещение, хотя собираться и не позволяют. Влечение большое питают к отделам. Одновременно с этим пробраться к Витте и Дурново и в подходящий момент скосить их. Это имело бы громадное значение. Сорвалось! Но я теперь дело сделаю. Вот только напрасно с.-р. против меня выступают. Ведь я летом это говорил еще за границей. А меня заподозрили, что я хотел всей партией распорядиться. И теперь еще не все потеряно.

Относительно "дела" Гапон говорил более прозаично и определенно. "От имени Рачковского" он "категорически" заявил, что в Петербурге меня никто не тронет. Не арестуют. Если мы "столкуемся", полиции будет дано знать, чтобы меня оставили в покое.

— Но будет так дано знать, что никто ни о чем не сможет

догадаться. Просто выяснилось, что ты ни при чем во взводимых на тебя обвинениях.

Брата безусловно освободят.

Гапон узнал от рабочего Т., что жена моя привлекается за издание какой-то книжки к суду. Он заявил, что и это дело похерят.

Рачковский все может сделать, если только я ему что-нибудь расскажу.

— А рассказать надо. Не выдавая, конечно. Безусловно, никого не предавая, иначе это будет предательство.

Что касается опасений за мою жизнь, на случай, если товарищи узнают о моем предательстве, то Рачковский говорит, что все можно будет устроить так, что меня никто ни в чем не заподозрит. Я "не должен погибнуть ни в каком случае". Я смогу перейти потом к с.-д. и работать у них. Но самое лучшее, чтобы я остался в Боевой Организации, как и был.

Тон у Гапона был теперь новый, гораздо самоувереннее, чем раньше. Говорил он совсем о другом, чем {64} раньше. Планы у него с Рачковским изменились после того, как убедились, что я клюю: пришел в Контан.

Рачковский соглашался на свидание только после того, как я что-нибудь расскажу. Свидание, следовательно, стало немислимым. Они даже торговаться нашли возможным.

С своей стороны Гапон все чаще останавливался на суде, который для него теперь является гарантией личной неприкосновенности. Над судом он в то же время издевается, не боится его, так как никаких документов нет, а я как свидетель в счет не иду. "Этот не выдаст".

Положение мое стало безвыходным. До Рачковского не добраться. А Гапон находится под защитой суда.

Я решил рискнуть, принять меры предосторожности и повидаться с кем-нибудь из товарищей, чтобы посоветоваться.

Гапону сказал, что "подумаю еще и дам ответ".

Я принял все бывшие в моем распоряжении меры предосторожности (Добавлено в июне 1909 г. —И. Р.) и, убедившись, что за мной нет полицейской слежки, поехал в Гельсингфорс. Раньше, чем пойти к Азефу, я спросил его по телефону, находит ли он возможным со мной встретиться, предупредив его, что я с своей стороны убежден, что никого с собой не привез.

Азеф свидание со мной принял. Я рассказал, зачем приехал и как вел за это время дело. Из указанных им первоклассных ресторанов я был только в одном из них и один раз, в первый день приезда в Петербург, но чувствовал себя там очень тяжело и, не видя в этом никакого смысла, больше туда не являлся и извозчиков там не ставил.

Азеф обозлился, стал грубо обвинять меня, что я не исполняю его инструкций, что своей неумелостью я проваливаю все и всех (в это время в Петербурге произошли аресты Б. О.). Он торопился куда-то по делу и, уходя, назначил мне вечером свидание, чтобы подумать, не оставить ли Рачковского и покончить с одним Гапоном.

Я ничего не ответил тогда Азефу. Все его обвинения были до того несправедливы и он мне стал до того отвратителен, что я буквально не {65} мог заставить себя встретиться с ним.

Я оставил ему записку, что не могу и не хочу видеть его, ни слышать, что возвращаюсь в Петербург продолжать дело, как сумею, на

основании имеющихся у меня прежних распоряжений.

Я вернулся обратно.

Записка в которой я оскорбил Ивана Николаевича, сыграла значительную роль в дальнейшем. Савинков заявил мне по поводу нее: «Ты оскорбил в его лице честь партии и всей истории партии».

**Свидание 10 марта, в пятницу, утром,
дача Питкинен, Териоки**

Я был болен и совершенно разбит после поездки моей к Азефу. С трудом мог следить за собой и за Гапоном.

По обыкновению он начал рассказывать про свои дела, про свое положение.

Я спросил, как, по его мнению, быть с Рачковским.

— Самое правильное сказать, что ты ему не доверяешь. Пусть передаст двадцать пять тысяч авансом через меня. Раньше ты к нему не пойдешь. А там три выхода:

1) Получить деньги и скрыться.

2) Если дело у тебя не совсем верное, ну, если ты не уверен, что действительно успешно окончится, то рассказать ему. А люди чтобы спаслись. Это вполне возможно. Потому что они арестовывают тогда, когда все созреет, как бутон. Понимаешь? Ну, мы можем сказать, что и не виноваты, а шпионы слишком грубо следили. Ни один человек, конечно, не должен пострадать. Но если дело у тебя верное, если твоя организация ведет к тому, что Дурново или другой кто несомненно скоро будет убит, тогда лучше с ним дело прекратить.

3) Деньги получить и убить их обоих, Рачковского и Герасимова. Это я взял бы на себя. Только надо так сделать, чтобы уйти. Я всегда говорил, что Боевая Организация поступает неправильно, что не спасает своих людей. Каляев, например, мог быть свободно спасен, если бы были лошади. Это мне вчера еще говорил очевидец.

— Кто говорил?

— Рабочий один. Если я буду убежден, что на мне не лежит более важная идея, я возьму на себя это дело. Только надо так устроить, чтобы уйти. Лошадей, одежду, квартиры. А для этого все-таки нужны деньги.

{67} Я ответил, что о первом его предложении нечего говорить, не стоит пачкаться. О третьем, чтобы убить Рачковского и Герасимова, — тоже не стоит говорить.

— Почему?

— Фантазия.

— Почему фантазия?

— Ты их не убьешь.

Гапон обиделся; стал уверять, что говорит об этом серьезно. Надо хоть этих подлецов убить. Его (Гапона) общественное положение теперь таково, что только таким актом он может вернуть себе доверие.

Гапон говорил с таким жаром и увлечением, так хорошо симулировал, а я был в таком разбитом настроении, что поддался его игре и стал серьезно говорить с ним об этом.

Гапон опять повторил, что это его давнишняя идея. Что очень бы хорошо убить их до Думы. И Дурново тоже.

Он спросил, сколько надо времени, чтобы организовать побег.

— Дней десять. Не больше двух недель. Но когда я поставил ему определенные вопросы (то-то тогда-то надо сделать), он смутился и стал вилять.

— Могу я послать вместо себя кого-нибудь другого?

— У меня такие рабочие найдутся.

Дальше следовал план, как осуществить. А когда запутался, стал говорить, что этот план вообще ему не подходит. Что он теперь день и ночь работает над своими организациями. Устроено уже 15 пунктов. Отделы сами по себе. Там хотят проводить выборное начало. А он считает необходимой железную дисциплину. Пусть отделы сами устраиваются. Он будет работать только с теми рабочими, которые остались ему верны. Он устраивает мастерские: портняжескую, слесарную и т. д. Деньги есть и будут. Говорил о каком-то "предприятии", от которого можно получить 18.000 рублей. Дело маленькое, но верное. Сами служащие принимают участие.

Я видел, что сделал большую оплошность, и старался затушевать разговор о покушении на Рачковского и Герасимова. Стал жаловаться, что дело у меня не клеится, что меня преследуют неудачи.

Он начал уговаривать меня "рассказать" Рачковскому. Можно будет получить большие деньги.

Я высказал удивление, что Рачковский торгуется. Но чтобы прийти к какому-нибудь результату, надо {68} с ним повидаться и все выяснить. Интересы у меня с Гапоном общие в этом деле. Поэтому я предоставляю ему решить, надо ли требовать аванс или нет.

Я рассчитывал, что Рачковский, не рискуя деньгами и зная, что я уже поддался искушению, приходил в Контан, явится на свидание со мной.

Если же он опять предложит Гапону переговорить со мной раньше, т.-е. получить предварительные доказательства моей "искренности", дело надо бросить.

Гапон полагал, что свидание состоится; так как я сказал, что вся будущая неделя у меня занята, кроме понедельника, то свидание было решено на понедельник 13-го вечером. В субботу или в воскресенье они повидаются, назначат час и место. Гапон сообщит мне это запиской через моего посланного.

13 марта Гапон передал мне, что вызывает меня на свидание в Териоки в среду утром (без Рачковского).

В понедельник появилось в газетах его наглое письмо к обществу. Находится в сношениях с полицией, а в печати говорит, что хочет обмануть полицию.

Свидание с Рачковским не получить без "аванса" с моей стороны. Гапона одного трогать нельзя. На свою ответственность решил дело оставить и уехать.

(Во время одного свидания у Гапона высунулась как-то из жилетного кармана визитная карточка с надписью: Петр Иванович Рачковский. Карточка, наконец, эта выпала на пол. На обороте ее что-то было написано чернилами.

— Что это у тебя? — спросил я.

— Ничего.

Гапон поднял и положил обратно в тот же карман. В свое время я забыл написать об этом в отчете Центральному Комитету. Из газет я узнал, что, когда в Озерках открыли тело Гапона, судебные власти пришли в большое смущение, найдя при нем визитную карточку. Карточку эту никому не показали и в протоколе о ней не упомянули. Не та ли эта карточка, которую я видел? Рабочие, очевидно, хуже умеют обыскивать, чем полиция.)

Я приехал в Гельсингфорс. Переслав Центральному Комитету (через Азефа) отчет последнего свидания с Гапоном, написал, что хочу уехать за границу*. (*Текст этой вставки изменен в июне 1909 года.)

Находясь все время под систематическим наблюдением полиции, я не мог пойти переговорить лично с кем-нибудь из товарищей.

Я узнал, что вместе с Азефом там был и Савинков. Если Азеф имел основание считать себя оскорбленным {69} мною, то Савинков или кто-нибудь другой так или иначе должны были отнестись к принятому мною решению оставить порученное мне дело и уехать, что-нибудь ответить на мою записку должны были.

Я ждал этого ответа, но безрезультатно.

Тогда я поручил протелефонировать об этом Азефу. Он ответил (как член ЦК, конечно, а не как частное лицо), что никакого ответа не будет.

От Савинкова, бывшего в это время с ним, тоже ни звука.

Я принял это молчание как упрек, точнее — как оскорбление за то, что в том или другом виде не привел в исполнение данное мне ЦК поручение.

Встал вопрос: могу ли я, связанный с Гапоном всем ужасом и кровью 9 января, бросить так это дело, уехать, ограничившись одной отпиской по начальству. Соображения общественные, политические, моральные меня пугали. И все вместе страшно угнетало. К концу нескольких дней для меня выяснилось одно: с Гапоном я увижусь.

Сначала я думал, что при создавшемся положении я должен, по крайней мере, сказать ему в присутствии рабочих, что считаю его предателем, провокатором, что все наши разговоры во время свиданий запротоколены и находятся в распоряжении партии.

Но когда я вернулся в Петербург, все соображения отпали перед чудовищностью того, что Гапон **продал 9 января, что он—полицейский провокатор.**

Решил привести в исполнение приговор ЦК, данное мне поручение относительно его одного.

Рассчитывать в этом случае на помощь N-ов, согласно первоначальному плану и инструкции Азефа, после их отказа не приходилось.

ОТЧЕТ 6

Я решил заменить не достигнутую мною "улику" Рачковского — свидетельскими показаниями. Я обратился к группе рабочих, членам партии, рассказал им, в чем дело. Один из них Гапона хорошо знал, так же, как Гапон его.

Видя во мне представителя партии, вполне мне доверяя, рабочие все-таки не могли примириться с мыслью, что Гапон — полицейский провокатор. Было решено, что я предъявлю в их присутствии Гапону обвинения. Чтобы он не мог отречься от всего, должен был быть, кроме меня, еще свидетель. Гапон должен быть выслушан. Получался вторичный суд. Об обращении моем к рабочим Центральный Комитет не знал.

22 марта (в среду) мы встретились с Гапоном и поехали на извозчике. На козлах за кучера сидел один из рабочих, слышавший наш весь разговор.

Я предлагал Гапону вопросы. Несмотря на их непоследовательность, он долго ничего не замечал и говорил все то же, уже известное.

В последний раз он видел Рачковского в понедельник. Рачковский дает 25.000 рублей за выдачу покушения на Дурново. Надо торопиться. 25.000 — деньги хорошие. Никто ничего не узнает. Нечего опасаться. О людях нечего беспокоиться. Мы их заранее предупредим, они скроются и т. д. Когда Рачковский узнал, что я не приехал в прошлую среду к Гапону на свидание, он стал беспокоиться. Боится покушения. Надо торопиться, повторял Гапон.

Этот раз он был гораздо наглее, чем раньше.

Я спросил о суде Грибовского. Гапон ответил, что суд пустяки. Хотят, чтобы одни левые партии судили. Он не пойдет на этот суд. И вообще, наплевать ему. Он знает цену общественному мнению. Грош. Было время, когда его перевозносили. Теперь его топчут. Газеты — либо жидовские, либо подкупные.

{71} Я говорил о нужде рабочих. Он подтвердил, что нужда очень большая. Я спросил, куда он девал 50.000 франков, которые Соков ему дал летом для рабочих.

Он насторожился. Долго, испытующе поглядел на меня.

Потом, беспокойный, спросил, как это я, конспиратор, разговариваю на извозчике о таких вещах, как убийство Дурново, свидание с Рачковским, о деньгах, называю все имена. Он предложил пройти пешком. Слезли с саней, он внимательно взглянул в лицо извозчика, но ничего подозрительного в нем не увидел.

Явно опасаясь чего-то, он стал уверять меня, что революционеры к нему несправедливо относятся, что он сам за вооруженное восстание, но считает преступлением вызывать теперь рабочих на улицу. Октябрьские увлечения — ошибка. Надо было заставить царя сначала присягнуть конституции. А потом уже пусть отбирает. Весь народ сказал бы: клятвопреступник — и восстал бы...

Я не возражал. Наконец, сказал, мне надо ехать. Мы вернулись к делу.

По словам Гапона, Рачковский раньше не доверял мне, но он поручился за меня, что я "честный и искренний человек".

Свидание теперь, наверное, состоится. Надо торопиться, а то Рачковский беспокоится.

Принять свидание с Рачковским и выполнить первый план я не мог уже. Предоставленные в мое распоряжение партией средства были уже ликвидированы. Правильные сношения с Центральным Комитетом, точнее с Азефом, расстроились. Оставалось держаться начатого суда рабочих.

Я сказал Гапону, что согласен. Пусть он окончательно узнает у Рачковского, когда и где мы встретимся. В понедельник я вызову Гапона, и он мне лично передаст свой разговор с Рачковским.

На этом мы расстались.

Рассказ "извозчика" поразил поджидавших его товарищей.

Было решено арестовать Гапона, обезоружить его (он всегда носил при себе револьвер) и, предъявив ему обвинение и свидетельское показание, потребовать от него объяснения. Потом решить его участь.

Сначала, согласно инструкции Азефа, (В этом месте рассказа я. при просмотре для печати, вставил имя Азефа и все, касающееся сношений с ним.) все было {72} мною организовано в Финляндии. Но я вовремя увидел неуместность этого акта на финляндской территории и все отменил.

Была нанята дача Звержицкой, в Озерках, на имя И. И. Путилина, явившегося туда в сопровождении своего "слуги". Из конспиративных соображений пришлось потребовать, чтобы дачу убрали; уборка ее затянулась из-за праздников.

В пятницу 24 марта я сообщил лицу, через которое сносился с Центральным Комитетом (Азефом), что все готово. Но ни дня, ни места не сообщил. В субботу или воскресенье (25 или 26 марта) это лицо передало это лично Азефу. Азеф при этом имел возможность снестись со мной лично или через посредника по телефону.

К понедельнику — день, когда я условился встретиться с Гапоном, — дача еще не была готова. Чтобы не возбуждать подозрений, уже появившихся у него, я написал ему в воскресенье записку:

"Получи завтра определенный ответ. Не меньше 50.000. 15.000 авансом через тебя. В крайнем случае 10.000. Тогда и деловое свидание назначим. За ответом пришло во вторник утром".

Для "конспирации" просил через посланного вернуть мне записку. Гапон ее возвратил, но, как потом оказалось, оставил у себя копию.

Мне он ответил:

"Ты сам вертишь и виноват в канители. Сегодня непременно надо видеться или завтра для дела, и тогда все будет хорошо. Ведь мы предположили с тобой так, невыгодно менять. Место — ресторан Кюба. Время или сегодня (понед.) 10 час. вечера, если завтра, то 7 час. вечера. Повторяю, ты должен видеться со мной и с тем господином здесь в городе".

Записку я получил 27 марта вечером. На словах он мне передал, что из города никуда не поедет, а в городе придет на свидание куда угодно. Несмотря на это предупреждение, я вызвал его приехать во вторник в Озерки с поездом, отходящим из Петербурга в 4 часа дня.

Во вторник 28 марта, когда все собрались на даче и мне надо было скоро идти встречать Гапона, дворнику вздумалось прийти очищать снег около дачи. Чтобы избавиться от него, его послали, вместе со "слугой", купить пива. Они взяли три бутылки. Одну получил дворник и,

удовлетворенный, ушел к себе и больше не появлялся.

{73} Гапона я застал на условленном месте, на главной улице Озерков, идущей параллельно железнодорожному полотну.

Встретил он меня, подсмеиваясь над моей нерешительностью: хочу, да духу не хватает идти к Рачковскому.

Я сказал, что главная причина моих колебаний та, что люди погибнут. Всех повесят.

Гапон возражал и успокаивал меня. Можно будет их предупредить, они скроются. Наконец организовать побег. Он спрашивал, сколько это может стоить, предлагал деньги для этого.

Мы повернули обратно. Я заметил двух человек, следивших за нами. Как только мы пошли им навстречу, они перешли дорогу и свернули в переулок, ведущий мимо каланчи через мостик, к Озерковскому театру.

Я сказал Гапону, что он приехал с сыщиками. Он отрекался. Мы пошли за ними. Застали их стоящими против каланчи, выжидающими. Как только мы свернули в переулок, т. е. к ним, они быстро пошли от нас дальше, перешли мост и провалились куда-то.

Всю дорогу, чтобы успокоить мою совесть, Гапон развивал разные планы, как избавить людей, которых я выдам, от виселицы.

— Зайти бы куда-нибудь посидеть, выпить чего-нибудь, — сказал он.

Я сказал, что у меня там одна из моих конспиративных квартир.

Когда я убедился, что никого за нами нет, мы пошли в дачу. Подымаемся по дорожке, Гапон остановился и спросил:

— Там никого нет?

— Нет.

Рабочие находились в верхнем этаже, в боковой маленькой комнате, за дверью с висющим замком. Предполагалось, что я открою эту дверь, чтобы войти вместе с Гапоном, рабочие его обезоружат. Если надо будет, связать его, а потом судить.

Но вышло так, что Гапон первый поднялся вверх. Войдя в первую большую комнату, сбросил с себя шубу и уселся на диване, стоявшем в противоположном от дверей углу. Открыть дверь и выпустить оттуда людей я не мог. Началась бы стрельба, и я всё и всех провалил бы. Я ходил по комнате, думая, как быть. А Гапон говорил. И неожиданно для меня заговорил так цинично, каким я его ни разу не слышал. Он был уверен, что мы одни, что теперь ему следует говорить со мной начистую.

{74} Он был совершенно откровенен. Рабочие все слышали. Мне оставалось только поддерживать разговор.

— Надо кончать. И чего ты ломаешься? 25.000 — большие деньги.

— Ты ведь говорил мне в Москве, что Рачковский даст 100.000?

— Я тебе этого не говорил. Это недоразумение. Они предлагают хорошие деньги. Ты напрасно не решаешься. И это за одно дело, за одно. Но можешь свободно заработать и сто тысяч, за четыре дела.

Гапон повторил, что Рачковский божится, клянется, что дело Леонтьевой обошлось им в 5.000 рублей всего.

— Они в очень затруднительном положении. Рачковский говорит, что у с.-р-ов у них сейчас никого нет. Были, да провалились.

— Он назвал кого-нибудь?

— Нет. Сказал только, что два человека, очень серьезных, совсем было добрались до центра. Да провалились. Товарищи узнали. А им надо, понимаешь?

А что, в Москве у вас есть что-нибудь? — спросил он, вспомнив что-то.

— Есть.

— С Дубасовым?

— Да.

— А как там дела?

— Хорошо. Как всюду.

Он больше не расспрашивал, предоставив, очевидно, дальнейшее Рачковскому.

Гапон говорил, что Рачковский беспокоится, боится покушения на Дурново. Убийство Слепцова его очень смутило.

— Что он говорит о Слепцове? — спросил я.

— Напрасная жестокость, — говорит.

Я высказал опасение, что Рачковский меня обманет. Все расскажу, а он денег не даст.

Гапон уверял, что этого не случится.

— Завтра в 10 часов вечера у Кюба. Ты можешь свободно ему все говорить. Он **безусловно** порядочный человек и не надует. Заплатит даже с благодарностью, как только убедится, что дело серьезное. Ты в этом не сомневайся. Я тебе говорю. На всякий случай можно сразу всех карт не открывать. А если надует, мы его уьем.

Я опять сказал, что главное препятствие для меня в том, что люди погибнут.

{75} — Да ты не смущайся. Ведь я тебе рассказывал, что они арестовывают только тогда, когда все созреет, как бутон. Значит, ты сможешь предупредить товарищей. Скажешь, что узнал из верного источника, что неладно и что надо немедленно скрыться. И все. А мы тут ни при чем. Мы скажем Рачковскому, что люди заметили слежку и разбежались.

— Как же они скроются? Рачковский на следующий день после нашего свидания приставит к каждому из них по десяти сыщиков. Ведь их всех повесят?

— Как-нибудь устроим им побег.

— Ну, убежит часть, а остальных повесят все-таки.

— Жаль!

Молчание. Через некоторое время продолжает:

— Ничего не поделаешь! Посылаешь же ты, наконец, Каляева на веселицу?

— Да! Ну, ладно.

Я заговорил о риске с моей стороны.

— Если Х. узнает о моих сношениях с Рачковским, он без разговоров пустит мне пулю в лоб.

— Неужели пустит?

— И глазом не моргнет.

Некоторое время молчание. Гапон ходит в раздумье по комнате.

— Нет, не сможет он этого сделать. А главное — доказательств нет. Не пойман за руку — не вор. Пусть докажут. Документов ведь никаких нет. А обставить дело практически так, чтобы товарищи тебя не заподозрили, — об этом позаботится Рачковский. Он человек опытный. В его практике много уже таких случаев было. Те теперь благоденствуют. Почтенные члены общества. И никто ничего не знает.

Одним из "практических" способов отвести от меня подозрение товарищей Гапон считал арест. Арестовать меня на время, конечно вместе с другими.

— Но тогда ведь меня вместе с другими будут судить военным судом и повесят?

— Разве повесят? Тогда это не годится. Но ты не беспокойся. Повидаешься с Рачковским, увидишь, что все это можно устроить очень просто.

Я спросил, сколько он получает от Рачковского за это дело. Гапон ответил, что покуда ничего, а сколько получит — не знает.

{76} — Ты богач теперь. У тебя много денег, должно быть.

— Почему?

— За книгу получил тысячу франков.

— Десять тысяч рублей я получил за нее.

— Да 50.000 от Сокова.

— Все израсходовано. (Гапон говорил об этом неохотно.) Рабочим много денег отдал. У меня теперь рублей тысяча всего осталось. Но мне и не надо много... Ты видел, как я скромно живу.

— Куда же ты девал деньги? Ведь отделы ты устраивал на виттевские?

— Петров за границу приезжал. Пришлось на дорогу дать. Другим еще. Есть семьи рабочих, которые я поддерживаю каждый месяц.

Я спросил о суде.

— Пустяки. Судьи теперь не тем заняты. Выборы идут. А с.-д. и с.-р. в лужу сели со своим бойкотом Думы. Кадеты всюду побеждают. Но если у кадетов не хватит политической зрелости, чтобы не зарваться в своей оппозиции, Думу разгонят штыками. Рачковский то же самое говорит. То, что в газетах пишут, что Дурново и Витте уходят, ерунда. Они и не думают уходить и не уйдут.

— В каком положении у тебя дело с Петровым?

— Он пишет книгу "Правда о Гапоне". Правду о Гапоне теперь многие пишут. И Симбирский, и Строев, кажется, пишет, и Феликс из "Биржевых Ведомостей", и еще кто-то. Ну что Петров может написать про меня?

— А если он напишет, что ты взял с П. клятву убить Григорьева?

— Откуда ты это знаешь? — опешил Гапон.

— Ты сам мне это говорил. Он успокоился и ответил:

— Ну что ж? Мало ли в организации у тебя, например, бывает важных секретов? Если кто-нибудь откроет, его следует убить.

— А Черемухина ты все-таки напрасно погубил.

— Почему я его погубил?

— Ты же мне рассказывал. Взял с него клятву убить Петрова за его письмо в газетах про 30.000 и дал ему револьвер для этого. А он сам себя из этого револьвера прикончил.

— Да, неприятная история! Гапон задумался.

{77} — Петров распишет, должно быть, твою парижскую жизнь.

— Что он напишет? Что я ему кабаки показывал в Париже? Рассказывал, сколько что стоит? Пустяки все это. Что здесь страшного? Пишут в газетах, что я в Монте-Карло в рулетку играл. Ну и играл, и выиграл. И плюю я на всех. И на общество, и на печать, и на революционные партии, и на всех. Мне важно мнение моих рабочих. А они мне доверяют. Те, которые колебались, сомневались, те мне не нужны.

С ними дела не сделаешь. Ты увидишь, что будет. Я теперь живу легально. Я был у Камышанского, прокурора петербургской палаты. Он сказал, что я амнистирован еще 21 октября.

— Ведь я тебе это говорил еще в ноябре. Зачем же ты комедию разыграл?

— Да.

Задумался. Потом с возрастающим оживлением начал:

— Я теперь буду устраивать мастерские. Кузница у нас есть уже маленькая. Слесарная. Булочную устроим и т. д. Вот что нужно теперь. Со временем и фабрику устроим. Ты директором будешь. Верно. Ты плюнь на всякие глупости. А общество, печать — ерунда. Их и купить, и продать можно. Верно говорю тебе. Я в этом убедился.

— А если бы рабочие, хотя бы твои, узнали про твои сношения с Рачковским?

— Ничего они не знают. А если бы и узнали, я скажу, что сносился для их же пользы.

— А если бы они узнали все, что я про тебя знаю? Что ты меня назвал Рачковскому членом Боевой Организации, другими словами — выдал меня, что ты взялся соблазнить меня в провокаторы, взялся узнать через меня и выдать Боевую Организацию, написал покаянное письмо Дурново?

— Никто этого не знает и узнать не может.

— А если бы я опубликовал все это?

— Ты, конечно, этого не сделаешь, и говорить не стоит. (Подумал немного.) А если бы сделал, я напечатал бы в газетах, что ты сумасшедший, что я знать ничего не знаю. Ни доказательств, ни свидетелей у тебя нет. И мне, конечно, поверили бы.

Я невольно направился к дверям, чтобы показать ему "свидетелей", но сдержался. Следя за разговором, я не успел ориентироваться, принять определенное решение.

{78} Говорить мне с ним больше незачем было. Но чтобы выиграть время, сообразить и решить, как быть, я возвращался к прежним вопросам и опасениям.

Из его ответов я узнал еще, что Рачковский хвалился ему, что меня "знают в лицо", а не по карточкам, не меньше "двадцати сыщиков", и о том, что о "нашем деле" знают только Рачковский, Дурново и царь.

— Ты знаешь, что на днях царю представлялся Тихомиров? — спросил я.

— Разве?

— Да. И серебряную чернильницу получил с какой-то надписью. За полезную службу. И ты, пожалуй, серебряную чернильницу получишь.

Его передернуло. Он деланно засмеялся и сказал:

— Что ж! Можно будет в ломбард заложить.

Тут произошло следующее.

Гапон спросил, где клозет. Я спустился с ним вниз, показал, а сам хотел вернуться наверх.

Дверь клозета находится рядом с дверью черной лестницы, ведущей наверх дачи. "Слуга" находился не вместе с другими, в маленькой комнате, а рядом, за дверью, на площадке черной лестницы, на случай, если бы пришел дворник. Он должен был его занять и увести от дачи.

Когда "слуга" услышал, что мы спускаемся вниз, ему вздумалось тоже сойти вниз по своей лестнице. А когда Гапон подошел к клозету,

они столкнулись лицом к лицу. "Слуга" опешил, очевидно, и бросился назад вверх по черной лестнице, а Гапон, в свою очередь, назад ко мне. Он застал меня внизу на стеклянной террасе (выходящей на озеро). Я еще не успел подняться наверх.

— Какой ужас! Нас слушали!

— Кто слушал?

Он стал описывать одежду и лицо человека, которого видел.

— У тебя револьвер есть? — спросил он.

— Нет, а у тебя есть?

— Тоже нет. Всегда я ношу, а сегодня, как нарочно, не взял. Пойдем посмотрим.

— Пойдем!

Мы подошли к черной лестнице. Она узкая. Я предложил ему пройти вперед. Он инстинктивно отскочил за мою спину.

— Нет, ты иди вперед.

{79} Я поднялся на несколько ступеней, вернулся и сказал, что там никого нет.

— Надо дворника позвать, — сказал Гапон.

Я отказался связываться с полицией.

"Слуга" думал, что мы поднимемся наверх по черной лестнице и пройдем мимо него. Поэтому он открыл дверь, за которой стоял раньше, и спрятался между нею и стеной.

Гапон думал и искал, куда мог скрыться человек.

Мы прошли низом дачи (через большую комнату и веранду) и поднялись наверх. Гапон шел впереди. Заметив открытую дверь на черную лестницу, он прошел туда, заглянул за дверь и увидел того, кого искал.

Он отскочил, как ужаленный. Молча, с остановившимися зрачками, стал меня толкать туда. Потом шепотом сказал:

— Он там!

Я пошел. Вывел за руку оттуда "слугу" и не успел слова сказать, как Гапон одним прыжком бросился на него, умудрился в один миг обшарить его, уцепился за руку и карман, где у того был револьвер, и прижал его к стене.

— У него револьвер! Его надо убить! — сказал Гапон.

Я подошел, засунул руку в карман "слуги", забрал револьвер, опустил его молча в свой карман.

Я дернул замок, открыл дверь и позвал рабочих.

— Вот мои свидетели! — сказал я Гапону.

То, что рабочие услышали, стоя за дверью, превзошло все их ожидания. Они давно ждали, чтобы я их выпустил. Теперь они не вышли, а выскочили, прыжками, бросились на него со стоном: "А-а-а"—и вцепились в него.

Гапон крикнул было в первую минуту: "Мартын!", но увидел перед собой знакомое лицо рабочего и понял все.

Они его поволокли в маленькую комнату. А он просил:

— Товарищи! Дорогие товарищи! Не надо!

— Мы тебе не товарищи! Молчи!

Рабочие его связывали. Он отчаянно боролся.

— Товарищи! Все, что вы слышали, — неправда! — говорил он, пытаясь кричать.

— Знаем. Молчи!

Я вышел, спустился вниз. Оставался все время на крытой стеклянной террасе.

{80} — Я сделал все это ради бывшей у меня идеи,— сказал Гапон.

— Знаем твои идеи!

Все было ясно.

Гапон — предатель, провокатор, растратил деньги рабочих. Он осквернил честь и память товарищей, павших 9 января. Гапона казнить.

Гапону дали предсмертное слово.

Он просил пощадить его во имя его прошлого.

— Нет у тебя прошлого! Ты его бросил к ногам грязных сыщиков!
— ответил один из присутствовавших.

Гапон был повешен в 7 часов вечера во вторник 28 марта 1906 года.

Я не присутствовал при казни. Поднялся навверх, только когда мне сказали, что Гапон скончался. Я видел его висящим на крюке вешалки в петле. На этом крюке он остался висеть. Его только развязали и укрыли шубой.

При Гапоне оказались:

1. Кожаный бумажник и в нем:

а) тысяча триста рублей;

б) десять разных записок и расписок;

в) две визитные карточки г. Х.;

г) ключи и квитанции несгораемого ящика банка Лионского кредита за № 414 на имя Ф. Рыбницкого. Лежали они в конверте с надписью "деньги";

д) копия с моей записки и на ней же набросок ответа: "Ты сам виноват в канители. Сегодня надо видетсья в ресторане Кюба в 9 час. вечера. Свидание непременно надо устроить деловое". (Вместо этого текста послал мне приведенный выше.)

2. Две записные книжки.

Все ушли. Дачу заперли.

Март 1906 г.

Часть III

Мои сношения с Центральным Комитетом Партии С.-Р. по делу Гапона после его смерти.

{83}

29 марта 1906 г. утром я приехал в Гельсингфорс, передал Центральному Комитету через пришедшего ко мне на свидание члена партии Зиновьева о происшедшем накануне в Озерках и набросок заявления для газет по поводу случившегося. Бывший тогда в Гельсингфорсе член ЦК Натансон мне ответил через того же Зиновьева просьбой предоставить товарищам самим проредактировать заявление для печати и немедленно уехать за границу.

Я отдал Зиновьеву все бывшее при мне, взятое у Гапона, согласился на первое предложение Натансона, но за границу уехать отказался.

Гельсингфорсцы взяли меня скрыть. Я предоставил себя в их распоряжение и уехал в деревню.

Через шесть дней ко мне приехал член Б. О. Борисенко, выложил взятые у Гапона вещи и заявил по поручению Азефа, что Центральный Комитет отказывается заявлять что бы то ни было о смерти Гапона, считая это дело моим частным, и что я сам должен поступить, как знаю.

Борисенко рассказал между прочим, что Иван Николаевич очень удручен продолжающимися неудачами и особенно тем, что по полученной телеграмме Савинков арестован в Москве; что на след полиции удалось напасть, по мнению Ивана Николаевича, благодаря моим сношениям с Гапоном, с одной стороны, и неконспиративности в сношениях с товарищами, с другой.

Я вызвал из Гельсингфорса по телефону Азефа, потребовал немедленного свидания с ним. Он ответил, что считает наше личное свидание лишним и что говорить со мной обо всем им уполномочен Борисенко.

Приезд Борисенко и ответ Азефа меня ошеломили.

Как я мог заявить, что убийство Гапона мое частное дело, когда это неправда? А если бы заявил, как мне объяснить мои сношения с Рачковским?

Я вернулся в Гельсингфорс. Приехал туда поздно ночью и видиться ни с кем не мог.

{84} Известие об аресте Савинкова на меня тоже очень повлияло.

Упреки Азефа в неконспиративности представлялись мне справедливыми. Я себя обвинил в виселице, на которой через несколько дней повиснет Савинков.

Это после вешалки, на которой продолжал висеть по моей "частной инициативе" Гапон...

Не легкая то была ночь для меня.

Утра дождался, как избавления.

Меня вызвали к телефону. Я услышал... голос Савинкова. В первый момент мне показалось это кошмаром. За ночь я сжился с мыслью, что он арестован. Но Савинков говорил мне, что сейчас только приехал из Москвы, что немедленно придет с Иваном Николаевичем.

- Приход их был для меня невыразимой радостью. Оба обнимали,

целовали меня. Савинков — искренне и просто, Азеф — снисходительно, прощающе. Но я был рад ему, чувствовал себя виновным перед ним и обязанным ему, как будто он сам вынул Савинкова из петли и привел его ко мне.

Савинков полагал, что партия должна объявить смерть Гапона партийным делом. Азеф заявил категорически, что ЦК этого не сделает и что **в заявлении о смерти Гапона не должно быть ни слова о причастности к ней партии или Боевой Организации.**

Я ответил, что такое заявление не соответствует правде и что, при сложившихся обстоятельствах, даже при моем согласии, составить его немислимо, что если кто-нибудь сумеет это сделать — я его подпишу.

Это было поручено Савинкову.

Оба ушли.

Через некоторое время Савинков вернулся, долго писал, но то, что от него требовали, написать не сумел.

Предложили идти к Натансону. Туда же вызвали Азефа.

Савинков заявил мне, что все его попытки выполнить поставленную ему задачу оказались тщетными, что он не член ЦК и права голоса не имеет, но мнение его таково, что **Центральному Комитету рано или поздно придется взять на себя дело Гапона, а потому лучше это сделать сейчас же, чем быть вынужденным сделать то же самое позже.**

Натансон, очень возбужденный, ударил кулаком по столу и заявил: {85} — Ни за что! Покуда я жив, на это не соглашусь!

Натансон предлагал ничего не опубликовывать о деле. Оставить его тайной. Мало ли в революции бывает тайн. А через год, два или раньше или позже, смотря по обстоятельствам, ЦК заявит о нем.

Азеф не соглашался с Натансоном, говоря, что партия либо сейчас должна взять на себя дело, либо никогда.

Я не понимал создавшегося положения. Спросил Натансона, не считает ли он, что Гапон погиб невинно?

— Нет, не считаю! Но если кто-нибудь имел на это моральное право, это — один Мартын.

Я еще меньше понимал: а приговор ЦК?

Но тут оказалось, что ЦК ничего не подозревал о происшедшем в Озерках, что, получив известие о том, что я ликвидирую дело и уезжаю за границу, ЦК выразил публичное согласие на участие в организовавшемся над Гапоном суде, что ЦК уже назвал своего представителя в этот суд, рассчитывая предъявить через него мои показания о предательстве Гапона. Центральный Комитет не может одновременно судить и убивать, и поэтому, принимая участие в публичном суде над Гапоном, не может заявить, что убил его.

Я предложил опубликовать от моего имени подробное изложение дела так, как оно было.

Азеф ответил, что мне предоставляется писать что угодно, но чтобы ни о Центральном Комитете, ни о Боевой Организации — ни слова.

Натансон его одобрил. Савинков не возражал.

Так ни к чему и не пришли.

Так я стал запутываться в начатой путанице.

Время шло. Какой-нибудь выход найти надо было. Я составил заявление от имени суда рабочих и подписал его для засвидетельствования своей подписью. Но Азеф заявил, что посылать его

в Петербург по почте нельзя, чтобы не скомпрометировать город, в котором мы находимся, а послать с кем-нибудь лично — опасно.

Я должен был сделать это из-за границы.

По распоряжению Азефа были посланы в Берлин вещи Гапона для пересылки их по почте его адвокату Марголину. Оригиналы записок Гапона и его записные книжки остались в распоряжении Центрального Комитета.

В русских и иностранных газетах заговорили о пропаже Гапона.

ЦК настаивал, чтобы я уехал за границу. Но я долго не соглашался, так как создавшееся двусмысленное {86} положение с моим отъездом только еще более осложнилось бы. Раз я поехал было, но вернулся с дороги, ничего не добившись, конечно. В конце концов должен был все-таки уехать. За границей я дал проредактировать покойному М. Р. Гоцу написанное мною заявление. Гоц высказался за то, что имени моего не следует выставлять на заявлении, что анонимность заявления делу повредить не может.

Ехавшая в Россию Зильберберг взяла с собой пакеты и отправила их в петербургские газеты.

Между тем в "Новом Времени" (16 апр. 1906 г.) появились статьи "Маски", (Манусевич-Мануйлов.) в которых, на фоне пикантных инсинуаций по адресу Боевой Организации и моему, рассказывалось о моих сношениях с Гапоном, о моем согласии предать департаменту полиции Б. О., о торге с Гапоном и о том, что я вызвал Гапона в Озерки для окончательных переговоров, но убил, как своего "демона-искусителя".

Появился ответ ЦК, в котором опровергались инсинуации "Маски" по адресу Б. О., говорилось, что я не состоял членом Б. О. и что партия никаких сношений с Гапоном не имела исключая короткий период после 9 января.

ЦК не только не возразил ни слова относительно определенных обвинений меня в сношениях с департаментом полиции, не только двусмысленно утверждал не соответствовавшее действительности, ибо ЦК знал, что сношения с Гапоном перед его смертью я имел по поручению и инструкциям ЦК. Составителем заявления от имени ЦК я считаю одного из принимавших непосредственное участие в решении участи Гапона...

Меня угнетало мое положение, угнетало положение тех, кого я, по поручению ЦК, послал на убийство Гапона.

Один из них при встрече со мной предложил вопрос:

— В каком деле мы принимали участие? В партийном или вашем частном предприятии? Как держать себя в случае ареста?

Я объяснил ему положение и сказал, что в случае ареста они должны сказать правду, т.е. что они на основании моих слов исполняли приговор ЦК.

{87} В конце апреля или в мае 1906 г. в Женеву приехал Натансон. При встрече он сразу обезоружил меня, признав, что ЦК небрежно поступил по отношению ко мне, но что это объясняется массой работы и недостатком сил, благодаря чему ЦК, к несчастью, делает и много других не менее важных упущений.

Он категорически обещал немедленно по своем возвращении в Петербург (через неделю) сделать все нужное.

Долго еще ЦК не мог собраться заявить что-нибудь о смерти

Гапона, рассеять росшее в рабочей среде недоразумение, что **народный защитник** — Гапон — убит мною — **правительственным агентом**.

На личные приставания хроникеров прогрессивной печати члены ЦК в частной беседе отвечали, что моя честь "вне сомнения". И хроникеры заявляли об этом в хронике "из достоверных источников".

Любопытно, что Чернов, принимавший участие в обсуждении и решении участи Гапона, до того одушевился в анонимном обзоре печати партийной газеты (кажется, "Дело Народа"), что объявил смерть Гапона результатом "великого гнева тех, кто шел рядом с ним 9 января на смерть" и пр.

Но анонимным авторам никто, конечно, не поверил.

В самой партии, **со слов** ЦК, ходили рассказы о каком-то моем дисциплинарном проступке, фантастичность которого росла вместе с расстоянием первоисточника.

ЦК ничего не говорил про меня дурного, но не говорил и ничего хорошего и не возражал другим, высказывавшим публично догадки или утверждения, что я — полицейский агент.

Благодаря этому поведению ЦК, отношение ко мне стало двусмысленным вне и в самой партии.

Азеф рассчитал хорошо. ЦК ему помогал своим авторитетом.

Все мои письма, заявления, протесты ничему помочь не могли. Я заявил категорически, что Азеф поручил мне от имени ЦК убийство и одного Гапона, — на это не обращали внимания. Я ссылался на свидетелей — опять-таки никакого внимания.

Для ЦК вопрос свелся к тому, что либо я, либо Азеф говорил неправду. Он верил Азефу, а со мной не считался.

Заявить публично обо всем я не мог. Во-первых, по условиям и обязанностям конспирации — к делу ведь причастно много лиц. Во-вторых, по условиям дисциплины {88} партии и, следовательно, ее интересов: я должен был ведь сказать, что ЦК говорит неправду, т.е. дискредитировать Партию на радость и пользу оправившейся уже реакции и во вред покачнувшейся уже революции.

Взять на себя одного все дело не мог, ибо не мог объяснить, как частное лицо, мои сношения с Рачковским. Замолчать мое отношение к делу тоже не мог.

Я решил требовать от ЦК следствия и суда по делу.

Мне передали телеграмму от Азефа, назначавшего мне свидание в Гейдельберге.

Я поехал, мы встретились вечером 5(18) июля 1906 г. Пошли на набережную.

Я спросил, почему ЦК до сих пор ничего не заявил о деле в печати. Азеф ответил, что это объясняется массой очень важных дел, но что такое заявление будет сделано.

— Впрочем, что ЦК должен и может заявить?

— Раньше всего, что моя честь стоит вне всяких подозрений.

— Станный вы человек, Мартын Иванович! Ну, можно, конечно, заявить, что честь Гершуни стоит вне всяких сомнений. Но разве можно еще сказать, что честь Павла Ивановича, (Савинков. В это время он сидел в Севастопольской крепости в ожидании смертного приговора.) или ваша, или моя вне всяких сомнений?

Я не нашелся ничего ответить.

Азеф упрекал меня в том, что я рассказываю о деле и о его участии в нем не так, как было в действительности. Я возражал, что все, что

говорю, очень даже соответствует действительности.

— Хорошо, вы мне скажите одно: поручал я вам убийство Гапона или нет?

— Конечно.

— Вы лжете, Мартын Иванович!

Судорожно сжались кулаки. Только сознание об "оскорбленной" мною уже раз "чести партии" парализовало руку, поднявшуюся ударить наглеца.

— Мне с вами не о чем говорить больше! Впрочем, заявляю вам, как члену ЦК, для передачи Центральному Комитету, что я требую следствия и суда по делу Гапона.

Азеф подумал.

— Центральному Комитету я передам ваше заявление. Но вам говорю, что, как член ЦК, подам голос против суда. Если бы суд был назначен, это был бы суд {89} между мной и вами. Так вот я вам говорю, что я этому суду просто отвечать ничего не стал бы. А потом ведь все это мелочи, которые вам тут с издерганными нервами кажутся гораздо важнее того, что они собой представляют на самом деле. По-моему, вам надо поехать в Россию работать и не тратить напрасно сил и времени.

— Я в Россию не поеду!

— Как знаете! Только, по-моему, ваше положение несколько не опаснее моего или Павла Ивановича.

Его предложение поехать в Россию я принял как совершенно определенное намерение помочь мне повиснуть на ближайшей виселице: и я уgomонюсь, и ему спокойней будет работать! Душевно он стал мне еще более отвратителен, чем раньше. *(Рутенберг был совершенно прав, хотя ему, к тому времени, еще не была известна вся двойная игра Азефа: Азефа «официально» разоблачили в начале 1909 года, см. список книг на тему в конце текста: ldn-knigi)*

При прощании (на улице) он потянулся ко мне и поцеловал меня. Всю ночь, всю дорогу меня жег этот поцелуй.

Я не удовлетворился переданным мною через Азефа на словах Центральному Комитету требованием суда. Вернувшись из Гейдельберга, я написал ему следующее письмо и заявление для печати.

1) Письмо Центральному Комитету

Дорогие товарищи.

Так как принципиально я не считаю допустимым, чтобы член партии, как частное лица, предпринимал и решал такие дела, как мое так как только благодаря этому соображению я воздержался в свое время (в самом начале) от самосуда и обратился к партии, так как я считаю, что партия мне полномочия дала, и только на этом основании я пригласил партийных людей для участия в партийном деле, т.е. одобренном партией, на основании всех этих причин я не могу считать и заявить, что сделал происшедшее по собственному разумению.

Суд товарищей должен выяснить, имел ли я полномочия от партии или сознательно злоупотребил доверием партийных работников ко мне, как к представителю партии

Этот суд я требую официально от ЦК при первом удобном случае.

Прилагаемое заявление считаю нужным сделать. После свидания с Иваном Николаевичем я убедился, что выяснение дела затянется.

Посылаю это заявление ЦК потому, что так или иначе партия окажется прикосновенной к делу; а {90} как член партии, принимая во внимание интересы партии, я не могу и не вправе судить, насколько удобна и своевременна эта публикация.

Если же ЦК заявит, что ни в какие рассуждения по этому делу вступать не желает, прошу товарищей передать прилагаемое заявление, которое будет сдано в печать. ЦК я все-таки прошу при первом удобном случае назначить суд.

П. Рутенберг

2) Заявление для печати

Милостивый Государь, господин Редактор!

Не откажите поместить в вашей газете следующее:

Ввиду того, что в настоящее время не могут быть опубликованы ни подробности по делу об убийстве предателя Георгия Гапона, ни причины, по которым постановление суда рабочих над ним оставалось до сих пор анонимным; ввиду того, что дело это не может продолжать оставаться анонимным, чтобы не вводить никого в заблуждение, заявляю:

1) Я — то лицо, которому Гапон предложил пойти в провокаторы и выдать за 100.000 руб. правительству Боевую Организацию П. С.-Р., членом которой он меня считал и назвал вице-директору департамента полиции Рачковскому.

2) Я — то лицо, которое привело его к суду рабочих.

3) Подлинность распубликованного постановления суда рабочих подтверждаю своей подписью.

4) Материалы по этому делу находятся в распоряжении Центрального Комитета Партии С.-Р.

Член партии социалистов-революционеров *П. Рутенберг*

Имеющиеся у меня копии с приведенных письма и заявления не помечены датой. Но помню, что они были отвезены и переданы Ц. Комитету в Петербург, во время свеаборгского восстания, т.е. в августе 1906 года.

Тогда же передан Ц. Комитету экземпляр моих докладов, которые я старался проредактировать так, чтобы избежать полемики с ним в случае их опубликования.

{91} С большим трудом жена добилась свидания с кем-нибудь из представителей ЦК.

И представителем этим оказался... Азеф.

Суть его ответа жене: "Так нужно для партии, а для интересов партии можно пожертвовать и честью, и жизнью не только одного, но и двух, и десяти членов партии".

Он удивлялся, как я этого не понимаю.

Жена не знала раньше Азефа и видела его впервые. Он произвел на нее такое отталкивающее впечатление, что, недолго думая, она написала мне что уверена, что говорила с *провокатором*. (выделено нами: *ldn-knigi*)

Я обиделся и принял это за "оскорбление чести партии и всей истории партии".

Ответа ЦК на мое письмо она дождалась не скоро.
Он состоял из: 1) постановления ЦК и 2) письма ко мне члена ЦК Чернова.

Вот они:

1) Постановление Центрального Комитета

Дорогой товарищ!

В ответ на заявление ваше ЦК заявляет:

1) Ввиду того, что ему не поступало ни с чьей стороны обвинения против вас, ЦК не считает возможным назначение над вами партийного суда.

2) Вы имеете право требовать передачи инцидента с вами на рассмотрение Совета партии или будущего партийного съезда.

3) ЦК единогласно считает устранение личности Г. вашим частным предприятием, в котором вы действовали самостоятельно и независимо от решения ЦК.

4) Вполне понимая тягость и неопределенность вашего современного положения, ЦК в первом же № своего "Листка" сделает соответственное заявление об отношении к вам партии.

5) Если вы решите и при этих условиях опубликовать в газетах письмо приблизительно того характера, как сообщенное Ц. Комитету, то имейте в виду, что п. 4 этого письма ЦК считает неподходящим и вынуждающим его на определенные публичные заявления.

{92}

2) Письмо Чернова

Дорогой Мартын!

Я прочел ваше письмо, в котором вы требуете от ЦК суда над собою. По этому вопросу мне придется подать и свой голос. Я пользуюсь случаем, чтобы сообщить и непосредственно вам свое мнение по этому вопросу.

"Я считаю, что имел полномочие от партии", — пишете вы. И мне прежде всего хочется протестовать против подобного заявления. Вы, конечно, помните, что именно я первый особенно резко и решительно высказался против вашего предложения — просто устранить одно известное лицо. Я высказался абсолютно против этого предложения тогда, когда еще И. Н. был в колебании и решительно не говорил ни да, ни нет. Я тогда же утверждал, что, хотя репутация известного лица сильно подорвана, но все-таки еще есть широкие слои, которые в него верят, что раз приобретенную им славу не так легко вычеркнуть из жизни, что в преступлениях, им совершенных, у нас не может быть для всех бесспорных и очевидных улик — настолько очевидных, насколько очевидны они для нас, а потому всегда останется для широких слоев рабочих нечто неразъясненное, нечто такое, на чем может играть правительственная демагогия. Я говорил, что легко может создаваться легенда о друге рабочих, убитом революционерами частью из зависти, частью из боязни влияния, пользуясь которым он ведет их по другому пути, а потом здесь нужно нечто более веское — надо застать *en flagrant délit*.

Такова была, как вы, конечно, помните, позиция, которую я занял с

самого начала и которой я не покидал все время наших рассуждений по этому вопросу. И эту точку зрения приняли и оба других товарища, П. и И., которые принимали участие в обсуждении и которые еще раньше самостоятельно высказались за предпочтительность второй комбинации (той, которую вы не исполнили). В конце концов мы все трое единогласно высказались за вторую комбинацию, как единственно соответствующую обстоятельствам, и против первой, как совершенно неудовлетворительной. И, после некоторых колебаний, вы согласились взяться за выполнение именно этой второй комбинации.

Для меня на этом дело кончилось. Я вскоре уехал из Спб., и для меня было полной неожиданностью {93} известие о событии. Что происходило в промежуток между нашим разговором и событием, какие обстоятельства заставили вас переменить свое решение — я не знаю. Хорошо знаю, что тотчас же после события один очень крупный литературный деятель спросил меня о его подкладке, и я с полной уверенностью тотчас же сказал, что это — дело не партийное, но что партии известно, по крайней мере, одно лицо из совершивших его и что совершившие имели в своих руках данные о несомненной преступности известной личности.

Вам кстати я могу сообщить, что по приезде П. я немедленно сообщил трем (четырем) членам ЦК, бывшим там, что мы от имени последнего дали согласие на вторую комбинацию. Но даже и эта вторая комбинация среди них встретила сначала довольно сильную оппозицию, но с нею, в конце концов, примирились. Нечего и говорить, что о принятии ими первой комбинации — отвергнутой нами — не могло быть и речи. Таково фактическое положение дела.

Теперь вы ставите вопрос так: либо вы сознательно злоупотребили чужим доверием, либо вы были уполномочены ЦК, либо вышло недоразумение, в котором одинаково виноваты и вы, и партия.

Несомненно, вышло недоразумение, я отрицаю лишь, чтобы партия в нем хоть чем-нибудь могла быть повинна.

О сознательном злоупотреблении с вашей стороны не может быть и речи; в нем вас никто не обвиняет, а потому я и не знаю, какой же может быть здесь суд? Суд может быть лишь по обвинению вас кем-либо: лицами из ЦК или лицами, принимавшими непосредственное участие вместе с вами в самом деле. Но обвинений никто не выставляет.

Я вполне понимаю, — да и другие товарищи тоже, — что моральное потрясение, произведенное в вас падением лица, в которое вы верили и которое олицетворяло собою славные исторические дни, вместе с волнением, без которого не могло обойтись решение вычеркнуть это лицо из истории, — были совершенно достаточным основанием для происшедшего недоразумения. И потому-то мы не считаем возможным ни судить, ни карать вас. Но тем менее права имеете вы теперь заблуждаться относительно характера совершившегося Дела. И лично мне во всем этом странно только одно: как вы теперь можете еще думать и утверждать, что вы имели полномочия на то, что произошло.

Для суда, повторяю, по-моему, нет места.

Но, {94} конечно, рассмотрение всего инцидента может быть передано ближайшему съезду Совета партии. Но пока мы еще не имеем тех документов, о которых вы сообщаете. По этой причине, а также потому, что в этих документах нет ничего, имеющего формальную юридическую силу для публикации (вы — участник дела и суда и вы же — автор документов), я считал бы неудобным и невозможным п. 4 вашего

письма в редакции газет, если только вы решите опубликовать это письмо. Кроме того, имейте в виду, что редакция п. 4 предполагает неминуемо соответственное заявление или разъяснение ЦК, а таковое не может быть без упоминания о том, что это дело не партийное.

Таково мое отношение к делу. А пока — желаю вам и пр.

Я ответил Чернову на это письмо, но копии не сохранил. Для него "на этом дело кончилось". Но не для меня. Я напоминал ему о приглашенных самим Азефом лицах во всех подробностях. Имел ли Чернов и весь ЦК в целом право отказывать мне в следствии и суде, имея мое категорическое заявление что дело сделано партийными людьми, считавшими, что приводили в исполнение приговор ЦК, — судить не мне.

Я поручил жене опубликовать без разрешения ЦК имевшуюся у нее рукопись. Но помимо моей воли ее убедили этого не делать ввиду наступившей реакции... А жили мы слишком далеко друг от друга и сношения были слишком затруднены, чтобы я вовремя мог послать нужные указания.

Ссылка ЦК на право обратиться в Совет партии или к съезду при моем положении была простой отпиской.

Когда в октябре 1906 г. я приехал на Иматру, я, неожиданно для себя и не зная об этом, очутился накануне открытия заседаний Совета партии. Я должен был уехать, "чтобы не скомпрометировать никого". Никто не предложил мне тогда воспользоваться моим "правом". Что это был Совет, я узнал позже от самого Чернова, с которым виделся там же на Иматре и который не предупредил меня, что Совет соберется.

Неожиданностью моего приезда и опасением осложнений с моей стороны на Совете объясняю себе торопливость, с которой ЦК поместил в выходявшем в этот день из печати номере "Партийных Известий" (от 22 окт. 1906 года) следующее заявление:

{95}

"Ввиду того, что, в связи со смертью Гапона, некоторые газеты пытались набросить тень на моральную и политическую репутацию члена партии социалистов-революционеров П. Рутенберга, Центральный Комитет П. С.-Р. заявляет, что личная и политическая честность П. Рутенберга стоит вне всяких сомнений".

Что вышло у Азефа с Центральным Комитетом по поводу дела Гапона, почему ЦК так старался уклониться от этого дела, которое морально одобрял, я не знал и разное себе объяснял. Но борьба для меня стала неравной. Особенно при тех условиях, в которых мне приходилось жить. К большому моральному гнету прибавилась большая материальная нужда, совсем скрутившая меня.

Самой ужасной для меня была мысль, что меня могут арестовать раньше, чем выяснится дело. Ни говорить, ни молчать я ведь не мог.

Только глубокое убеждение в неправоте ЦК, невозможность признать свое бессилие в борьбе с ним, опасение набросить тень, дать повод усомниться в виновности Гапона удерживали меня от не раз соблазнявшего меня легкого разрешения моего безвыходного положения — самоубийства.

Не раз за это время я убеждался, что бывает труднее жить, чем умереть.

19 февраля 1908 г. я писал Савинкову, между прочим:

"Если ЦК не хотел этого дела, он имел ведь возможность вернуть меня, остановить. А если он "в конце концов примирился", то взял, следовательно, на себя ответственность за все последствия. И за успех, и за неудачу, и за Озерки... Но придаться к тому, что я ступил правой ногой, а не левой, зная, что левой ступить не мог, зная, что доказательства виновности Г. я достал, и замолчать, когда заговорили "маски", — отказаться от меня,— ведь это предательство. Предательство со стороны ЦК, как коллегии, предательство со стороны отдельных лиц и с твоей в частности.

Это то, отчего я так обалдел с первого момента, с того вечера, когда Моисеенко привез мне постановление ЦК.

Одно время в течение моих скитаний я себя чувствовал очень скверно. Часто останавливался на Гапоне и спрашивал себя: не ошибся ли? Каждый раз я приходил к одному же ответу: нет, не ошибся! Гапон предал не {96} меня, не тебя, третьего, десятого, а то, что предавать невозможно. Гибель его была необходима и неизбежна"...

Время, о котором я говорю в письме,— несколько месяцев, проведенных весной 1907 г. на Капри.

Много своих "ценностей" я здесь переоценил. Не радостные итоги своей революционной деятельности подвел... В безукоризненности итогов блестящей деятельности других усумнился... И очутился над пропастью душевного банкротства...

Только душевная поддержка окружавших друзей помогала мне в тяжелой борьбе с самим собой. Окружавшая безграничная даль неба и моря, то грозно бунтующая, то грустно ласкающая, спугивала, иногда разгоняла сгущавшуюся вокруг меня, засасывавшую меня беспросветно мрачную пучину.

Капри. Так с этим сказочно красивым клочком земли остался связанным для меня безысходный ужас, прорезанный редкими светлыми проблесками.

Самым серьезным образом передо мной стал здесь вопрос о том, что Иван Николаевич должен повиснуть на такой же вешалке, как Гапон. Самым серьезным образом я обдумывал план, как привести его в исполнение. И находил средства. Публикация моих докладов ЦК представляла в то время такую сенсацию, что за нее можно было получить большие деньги. Опубликованием их рассеивалась создававшаяся вокруг имени Гапона легенда, рассеивалось мое собственное двусмысленное положение, являлась возможность поехать в Россию, подвести счеты с Иваном Николаевичем, а потом и самому дорваться на каком-нибудь деле до петли.

Я серьезно этим занялся. Но обстоятельства, на которых останавливаться здесь не место, отрезвили меня, заставили взять себя в руки.

Я оставил свои "планы". Поехал искать работу и жизнь.

(Относительно опубликования рукописи просил Г-кого взять на себя сношения с издателем, а вырученные деньги, за покрытием расходов, прислать ЦК. Рукопись не была тогда опубликована, так как издатель потребовал от меня дополнить ее. А меня брал ужас не только писать, но даже думать об этом деле. На этой почве у меня вышло недоразумение с Г-м, который, очевидно, не совсем ясно представлял себе мое тогдашнее душевное состояние.)

Природное физическое здоровье, глубокая вера в правду большой жизни и в правоту своего маленького {97} дела меня вывели. Производительный труд меня выпрямил и вернул уважение к самому себе.

Великие памятники человеческого гения, гения труда, гения борьбы и стремления к лучшему и большему, великие памятники, мимо которых я каждый день проходил на работу, смотрели на меня веками большой прошлой человеческой жизни.

Величаво суровая седина камней успокаивала и учила; я набирался здесь сил, разума и мужества и шел жить в маленькую мелочную жизнь, умея находить в ней большую красоту и радость.

Упомянутое письмо Савинкову было написано по следующему поводу.

Я добивался малейшей материальной возможности опубликовать дело Гапона. Такая возможность представилась мне в декабре 1907 года. Я поручил напечатать рукопись в Женеве. С ЦК считал бесполезным сноситься, но, когда узнали об этом, Савинков написал мне (23 января 1908 года).

"Подумай, нужно ли это, подумай также, какую ответственность берешь на себя... Если все-таки решишь печатать,— прошу, реши раньше мне. Ты ведь сам знаешь, неприятно и мне и тебе, если в печати начнется полемика, если наши взгляды на вещи не сойдутся и придется нам опровергать друг друга..."

Я ответил, что "ложась на меня ответственность, очевидно, ясна мне", рукопись все-таки опубликую. Списать рад. И послал экземпляры рукописи. Просил, чтобы ЦК прислал редакцию тех изменений, какие считает нужным сделать, что изменения я считаю допустимыми только в форме, но не в сущности изложенного мною.

В письме от 11 февраля 1908 года Савинков сообщал, что отказывается быть посредником между мною и ЦК. Настойчиво советуя обратиться непосредственно к Ц. Комитету, он перечислял ряд допущенных мною умолчаний, искажающих, по его мнению, смысл дела. Он писал мне: "Приговора одному Г. не было. А читатель может подумать, что именно так и было". По его мнению, я должен заявить, что так как "ЦК не поручал мне этого дела, а поручил совсем другое (Г. и Р.), ни политически ни технически не связанное с первым, то и ответственность за совершенное мною ЦК на себя взять не мог..."

Сильно отличалось это мнение от того, которое он высказал в апреле 1906 года у Натансона на квартире {98} в Гельсингфорсе, что "ЦК рано или поздно придется взять на себя дело Гапона, а потому лучше это сделать сейчас, чем быть вынужденным сделать то же самое позже".

Сильно было для него, как и для других, влияние Азефа.

Я напомнил ему (в ответе 19 февраля 1908 г.) подробно всю историю дела, доказал ему письмом Чернова, что ЦК в приговоре своем имел в виду именно Г., а не Р. Мое мнение о том, что поведение Ивана Николаевича предательское по отношению к делу и ко мне,— было принято, очевидно, как мнение очень возбужденного человека.

Разве Иван Николаевич может быть предателем? Между прочим, я тогда же писал Савинкову:

"Если ты вдумаясь в суть дела, во все то, что я тебе напомнил,—я ведь многого не привел,—ты убедишься, что две главные причины лежат в основе той грязи, в которую вы впутали меня и самих себя:

1) Оппозиция (по-моему, здоровая) ЦК, как партийной высшей коллегии самоуправству отдельных своих членов. Это доказывается документально письмом В. и многим другим, тебе подробнее и лучше известным, чем мне.

2) Я оскорбил генерала. Ты прекрасно знаешь, что, захоти И. Н., он сумел бы настоять, чтобы все было тогда же ликвидировано. Утверждаю, что сознательно или бессознательно, — по-моему, сознательно,— он воспользовался создавшимся положением, во всяком случае сознательно не препятствовал ему развиваться в данном направлении, чтобы компенсировать мою "записку". Теперь ты предлагаешь мне написать "всю правду". Зачем же бросать зря такие слова? Ведь ты прекрасно знаешь, что я этого сделать не могу, не могу плевать в своего собственного духа святого. Ты знаешь, что для меня революция конкретизировалась в партии, ЦК представляет партию. Моей "правдой" авторитет ЦК может быть только унижен, следовательно — унижен и авторитет партии, следовательно — нанесен вред революции. Не могу же доставлять Рачковскому, Трусевичу, Суворину, Столыпину такого благодарного материала. В этом смысле я безоружен. И, отмалчиваясь, вы пользовались моей безоружностью. Вплоть до того, что позволили себе через 8 месяцев после того, как мое имя вы трепали во всех помойных ямах, выдать {99} мне аттестат "моральной и политической честности". И тебе не стыдно?

По тем или другим соображениям, вы хотите свалить это дело на меня как на частное лицо. И я бы взял его на себя как частное лицо (ты это знаешь), если бы не было сношений с Рачковским, тех, что вы мне поручили, тех, которым я как частное лицо объяснить ничем не могу. Ясно, конечно, что, соглашаясь взять дело на одного себя, я иду против правды. Ибо на самом деле, если бы считал возможным частным образом, лично, на свой страх, разделаться с ним, я мог бы это сделать в Москве. Но я сдержался, явился к вам. И заявил вам: слушайте и судите. И вы выслушали и "осудили. Ведь ты знаешь, что это так. Ты согласишься, что, когда писал мне: "...в словах твоих нет искажений, я, по крайней мере, не нашел. Есть в многочисленных умолчаниях", — ты нанес оскорбление не по адресу. Не касаюсь "искажений", которых ты "по крайней мере не нашел" "в словах". Напрасно искал. Искажаю не я. А "умолчание" — единственная для меня доступная форма ликвидации дела. Гапониада в той части, в которой я оказался к ней причастным, состоит из двух переплетшихся между собою дел: предательство Г. и отношения мои с ЦК. Хочу и обязан ликвидировать первое. Но считаю невозможным опубликовать всю "правду" второго. Если ЦК найдет нужным, пусть это делает сам. Но если он, ЦК, а не "маска", затронет мою честь, я буду ее защищать. Даже "всею правдой", если придется".

Благодаря переписке с Савинковым я поехал все-таки в Женеву, чтобы снести лично с ЦК об изменениях в публикуемой мною рукописи.

Материально поездка эта была для меня не по силам — заработок мой

был слишком скромн и, сверх того, поденный. Не говоря уже о расходах по поездке, у меня в нерабочие дни не было доходов. При таких условиях долго вести переговоры трудно было.

Товарищи, которых застал в Женеве, уверяли меня, что отношение их ко мне всегда было и оставалось хорошим. Уполномоченный Ц. Комитетом для переговоров со мной заявил мне от имени ЦК, что я не имею права выступать публично в деле Гапона без согласия ЦК, так как ЦК считает себя связанным со мной в этом деле, и если молчит, то по условиям политическим. Я отнесся скептически к его заявлениям и предпочел письменные документальные сношения с ЦК.

{100} Через несколько дней после моего приезда в Цюрихе умер Г. А. Гершуни. Все оказались заняты. Все, кто мог, уезжали в Париж на похороны, которые затянулись на 2 недели.

Мне ничего не оставалось, как ждать.

Я передал через Лазарева для ЦК заявление, для рассмотрения которого была назначена в Париже комиссия. Вот оно:

Дорогой Егор Егорович!

Передайте, пожалуйста, Центральному Комитету:

1) Если ЦК находит нужным, чтобы опубликование дела Г. произошло при его контроле, и считает возможным, чтобы были опубликованы и мои сношения с ЦК по данному делу, он не откажет:

а) назначить лицо, которое было бы вправе вместе со мной окончательно редактировать рукопись;

б) указать тех лиц, которые были бы вправе разобрать и редактировать спорные между мною и представителями ЦК вопросы.

2) Вопрос о несвоевременности опубликования дела Г. считаю себя вправе снять с обсуждения.

3) (Не подлежит опубликованию.)

4) Материальные и моральные условия, в которых я нахожусь, заставляют меня категорически просить ЦК, чтобы ликвидация дела Г. и совместное обсуждение окончательной редакции рукописи началось не позже середины следующей недели.

Уверен, что ЦК не упустит из виду этот пункт и уделит ему все нужное внимание.

Сердечный привет всем товарищам.

Низко кланяюсь праху Григория Андреевича.

25 марта 1908 г.

Петр

Ответ назначенной Ц. Комитетом комиссии на мое заявление (получил 7 апреля 1908 г.):

1) Комиссия большинством голосов находит, что печатание рукописи Мартына (2-й ее части) является несвоевременным ввиду того, что:

а) дело Гапона в настоящее время забыто и возбуждать его вновь, вследствие невозможности открытой защиты партийных интересов, нецелесообразно;

б) ни для партии, ни для автора пользы от напечатания рукописи быть не может.

2) Комиссия находит печатание рукописи несвоевременным {101}

еще и потому, что... (не подлежит публикации).

Подробности 2-го мотива будут переданы на словах.

3) В случае наступления момента возможности напечатания, комиссия полагает необходимым изменение рукописи согласно прилагаемому списку.

Следует список изменений, указанных мне раньше Савинковым.

Постановление это Л. мне передал в присутствии приехавшего в Женеву члена ЦК А. Ю. Фейта, знавшего о деле Гапона по рассказам (с конца 1905 г. он был в тюрьме, а потом в ссылке). В первый раз после марта 1906 года я говорил с членом ЦК, умевшим слушать меня без предубеждения. Приведенные мною факты его смутили. Но речь ведь шла об Иване Николаевиче, которому мы оба доверяли... Поэтому мы стали искать выхода, удовлетворительного для меня, достойного для Ц. Комитета, т. е. для партии. Сговориться нам было сравнительно нетрудно, ибо интересы партии для обоих нас были одинаково дороги.

В результате этих переговоров я написал Ц. Комитету в Париж (10 апреля 1908 года).

Центральному Комитету

Дорогие товарищи!

На полученное мною постановление комиссии ЦК по делу Гапона отвечаю:

Мне представляется, что соглашение между ЦК и мной по этому делу возможно только на почве общности цели, т. е.

1) чтобы по поводу убийства Гапона между ЦК и мной не возникало публичных споров, которые сами по себе вызовут сомнение в виновности Гапона, в действительности никакому сомнению не подлежащей, и дискредитируют в глазах широких масс партию, а следовательно — революцию;

2) чтобы опубликование дела Гапона не дало повода усумниться в позиции, занятой ЦК, как учреждением и представителем партии (не говорю об отдельных его членах).

По существу позиция ЦК (повторяю, как учреждения), с одной стороны, и моя — с другой, в данном деле диаметрально противоположны. Каждая из них основана на конкретных положениях. Достигнуть поэтому {102} поставленной цели мне представляется возможным:

а) умолчанием о тех промежуточных обстоятельствах, благодаря которым оказалось возможным такое существование двух друг друга исключających положений,

б) тем, что дело второй его стадии беру на себя одного.

В принятой мною редакции говорю только о б одном данном мне Ц. Комитетом поручении: Р. и Г. Но подчеркивать, как этого хочет ЦК в моем изложении дела, что другого поручения ЦК мне не давал и даже запрещал, не буду, ибо это не соответствует тому, что на самом деле происходило между мной и представителем ЦК.

Если ЦК не удовлетворится таким решением вопроса и разрешит мне, я изложу дело во всех деталях так, как оно было, т. е. изложу то, что было мне поручено представителем ЦК, и то, что **как мне стало** известным позже, ЦК, как учреждение, на самом деле поручал.

Если ЦК не примет ни одного из этих двух решений, дело мною будет опубликовано по той рукописи, которую присылал в Париж. Не мне предрешать поведение ЦК в этом случае.

Что касается времени опубликования дела, то только при теперешней, переданной мне на словах формулировке отношения ЦК к делу, **отличающейся от той, которую я знал до сих пор**, я считаю возможным и необходимым подчиниться, как член партии, требованию ЦК партии.

Но **непременным условием** этого мне представляется, чтобы ЦК теперь же прислал мне письменный документ такого приблизительно содержания:

"П. М. Рутенбергу. ЦК П. С.-Р. своей дискреционной властью запрещает вам, как члену партии, опубликовывать дело Гапона впредь до тех пор, когда по политическим условиям и по общему с вами согласию такое опубликование будет найдено своевременным".

Эту записку и рукопись ЦК не откажет прислать сейчас же через Л. Э., так как я не могу уехать отсюда, не давши определенных распоряжений по делу. А жить здесь у меня нет никаких средств. Считаю нужным еще раз напомнить Ц. Комитету, что от его имени и по его полномочию я занял в свое время для расходов по делу Гапона 700 рублей...

Всем товарищам привет.

П. Рутенберг

{103} Ответ комиссии на это письмо остался у Л. Э. Шишко. Комиссия, среди которой витал, очевидно, дух Азефа, мало считаясь с моим письмом, настаивала на внесении мной изменений некоторых выражений, в угодном для нее смысле. Я отказался. Некоторые редакционные поправки, не менявшие по существу смысла дела,— принял. Вместе с ответом комиссии пришло и написанное мне (через Ш.) Натансоном письмо, хорошее, товарищеское письмо. Он просил меня выждать еще две недели, пока придет от ЦК из России ответ. С своей стороны находил справедливым выставленное мною требование записки и обещал свое содействие.

Я уехал.

Вместо двух недель, на которые получил отпуск, пробыл в Женеве шесть недель. Работу, конечно, потерял. И долго не мог найти другую. Еще раз пришлось пережить всю гнусность и унижительность безработности. Много скверной людской тупости, мелкой жадности прошло передо мной за это время поисков работы. Не мало личных отвратительных переживаний. Но не место и не время на них останавливаться.

Важно то, что ЦК остался верен своему отношению ко мне в прошлом. Он не только не прислал мне записки, но вообще ничего не ответил. Ведь среди членов находившегося в России ЦК находился и Азеф.

Я опять стал собираться с силами, искать материальную возможность опубликовать дело.

О том, что ЦК объявил Азефа провокатором, я узнал из местных газет как об "огромном полицейском скандале в России".

Еще бы!

Я не верил. Написал Савинкову. Тот ответил убедительным письмом. Газеты приносили все новые убедительные подробности.

Поведение Азефа в деле Гапона выяснилось. Молчать дольше было нельзя. Я написал заявление для печати и послал его Савинкову просмотреть. Он возвратил его со следующим письмом:

"3-го февраля 1909 г.

Дорогой Петр!

Вчера получил твое письмо.

1) ЦК хотя и скомпрометирован, но существует, {104} а пока он существует, мне кажется, без его разрешения печатать по делу Г. ничего нельзя, опираясь на уже состоявшееся между ЦК и тобою по этому поводу соглашение. Поэтому, по-моему, рукопись нужно отослать для прочтения официально в ЦК.

2) В такой тяжкий для партии момент, как теперь, мне думается, твое сообщение, содержащее упреки по адресу ЦК, даже если бы эти упреки были справедливы, напечатано быть не должно. Оно внесет в уже существующее междоусобие еще один повод.

3) Упреки твои, по-моему, не совсем справедливы. Если Азеф обманул в этом деле и тебя и нас (а теперь ясно, почему это было в его интересах), то из этого не следует, что ЦК, как целое, давал санкцию устранения Г. без Р. Наоборот, утверждаю и могу свидетельствовать где и когда угодно, что **такой** санкции ЦК не давал, что для него убийство **одного** Г. было неожиданностью, не **одобренною**, что ты о таковом мнении ЦК знал. Это не исключает возможности обмана тебя Азефом, заявления, например, Азефа, что ЦК переменял мнение, или попустительства Азефа, что равнялось разрешению, и т. п. Но тогда виноват **Азеф**, а не ЦК. Из твоего же сообщения можно легко вывести другое — неправильное заключение что ЦК играл с тобою недостойную игру в прятки.

Вот что я думаю о твоём сообщении и хочу верить, что ты посчитаешься с этим мнением..."

Мой ответ Савинкову

"... 1) ЦК существует, но соглашения между им и мной не существует, потому что ЦК не только не принял выставленное мною условие соглашения, но просто ничего мне не ответил.

При таком отношении ЦК и к делу, и ко мне ответственность за это дело опять легла на меня одного. И вопрос об его опубликовании для меня давно был решен в окончательном утвердительном смысле. Со времени переговоров прошел ведь год. Я выжидал только материальной для себя возможности.

В этом смысле ничего не изменилось. Изменилось одно: "Иван Николаевич" стал "Азевым", к общему нашему ужасу. Едва ли это может побудить меня к дальнейшему молчанию.

Изменилось еще одно: данное мной согласие взять на себя лично дело не имеет больше смысла.

2) **Упреков ЦК не хочу делать.** В такое {105} время, да и во всякое время, это было бы мелочно с моей стороны. Констатирую только фактическое положение дела, снимая с себя ту долю моральной ответственности, которую ЦК до сих пор сознательно и несправедливо заставлял меня нести. Продолжать нести это очень тяжелое бремя для меня больше нет никакого смысла.

3) Существующее междоусобие не уляжется, если не опубликую мое заявление. А если бы и улеглось, все равно опубликовал бы, как поступил бы и ты на моем месте.

Надо и эту гангрену срезать.

4) На четвертый твой пункт отвечаю: совершенно с тобой согласен. И впечатление твое зависит отчасти от самого исторического факта, позиции, которой ЦК держался в этом деле...

...Посылаю текст О... для передачи его Бурцеву. Для печати, конечно.

Не посылаю его ЦК потому, что не считаю возможным обращаться к нему больше по этому делу. Ты, конечно, понимаешь, что с моей стороны нет желания доставить этим Ц. Комитету в тяжелое для него время неприятность.

Если ты, с своей стороны, найдешь нужным — можешь предложить ЦК опубликовать мое заявление, не буквально, конечно. Если ты явишься к О. с этим письмом до вечера воскресенья 7-го, ты получишь в свое распоряжение три дня, после которых либо доставишь ей печатный текст заявления, либо, не дожидаясь от тебя больше ответа, она отнесет его к Бурцеву. Возможно еще наше свидание с тобой для совместной выработки текста, но при условии твоего немедленного сюда приезда. Разумеется, предупредишь О. об этом..."

В назначенный мною срок жена не могла передать Бурцеву мое заявление, так как он уехал из Парижа.

Как только я узнал из газет, что Бурцев вернулся, я поехал, чтобы повидаться с ним лично, передать ему весь материал и просить взять на себя ведение дел и сношений, а если понадобится, и полемику с ЦК. Сам я для этого не имел ни материальной, ни моральной возможности.

Бурцева не застал. Он опять выехал из Парижа. Хотел просить о том же Г. А. Лопатина, но и его не было в эти дни в Париже.

Савинков со своей стороны убеждал меня не обходить ЦК в такое тяжелое время. Я пришел на собрание ЦК 12 февраля (30 января) и заявил, что, ввиду отношения ко мне ЦК в прошлом, не считаю себя обязанным перед ним ни морально, ни дисциплинарно и только из уважения к переживаемому партией, а не Ц. Комитетом, несчастию и к партийной дисциплине довожу до сведения ЦК об опубликовываемом мною заявлении и прошу дать ответ в тот же день.

ЦК постановил пойти мне навстречу в опубликовании дела и уполномочил Чернова и Савинкова для совместного со мной пересмотра текста моего заявления.

Уполномоченные ЦК нашли нужным внести в редакцию моего текста ряд изменений, большая часть которых была мною принята. Они не изменили смысла моего заявления, но затуманили его. Текст должен был быть немедленно переведен и напечатан Ц. Комитетом со своим **добавлением** в французских газетах. Как оказалось, ЦК не уполномочил своих представителей на принятие текста добавления к моему заявлению. Я со своей стороны оставаться дольше в Париже не мог. Чернов предложил текст "добавления", который брался защищать перед Ц. Комитетом, текст, признанный мною удовлетворительным, точной копии которого у меня нет. Приблизительное содержание его таково :

"ЦК П. С.-Р. подтверждает существо изложенного в заявлении члена партии П. Рутенберга. ЦК считает, что в партийном отношении

П. Рутенберг поступал в деле Гапона вполне правильно, так как в то время не мог не считать Азефа верным выразителем решений ЦК".

Я уехал. Прошла неделя. В Государственной Думе назначены были прения по запросу об Азефе. Заявление мое в печати не появилось. Я написал Ц. Комитету, что, если во вторник 10 (23) февраля в утренних газетах не появится мое заявление, я во вторник вечером сдам его сам в печать.

Во вторник вечером получил телеграмму:

"Votre lettre avec supplément est dans rédaction Humanité. Attendez lettre".

А затем следующие письма (получены 25 апреля 1909 г.):

Многоуважаемый товарищ!

Из телеграммы вы уже должны знать, что ваше письмо и дополнительное к нему сообщение ЦК отправлено в редакцию "L'Humanité". По поручению ЦК {107} высылаю вам для сведения текст принятого ЦК дополнительного сообщения к вашему письму, так как набросанное при вас В. М. короткое подтверждение признано Ц. Комитетом решительно неприемлемым.

С товарищеским приветом (подпись).

"ЦК П. С.-Р., подтверждая существо изложенного в этом письме, может сообщить следующее:

1) Член партии П. Рутенберг действительно докладывал ЦК о разговорах с ним Г. Гапона, из которых совершенно выяснился характер связей последнего с Рачковским и др. агентом политического сыска.

2) Верность сообщенных П. Рутенбергом данных подтверждается и последующими сведениями о сношениях Гапона с полицией, до и после 9 января, полученными из тех же источников, что и сведения о провокаторской деятельности Азефа.

3) Первый доклад П. Рутенберга о провокаторских попытках Гапона был сделан, в присутствии представителя Б. О., двум членам ЦК, причем П. Рутенберг, настойчиво поддержанный представителем Б. О., предлагал ему убийство Гапона; члены же ЦК (и в том числе Азеф) стали на ту точку зрения, что при невыясненности личности Гапона для общества и при слепой вере в него значительной части рабочих такой акт мог бы вызвать множество совершенно нежелательных последствий, кривотолков и разговоров между рабочими с.-р-ами и рабочими гапоновцами. В итоге продолжительных споров именем ЦК оба наличных его члена в присутствии П. Рутенберга взяли на свою ответственность следующее разрешение вопроса: отклонить убийство одного Г., разрешить террористический акт только против Рачковского и Гапона вместе, во время одного из их конспиративных свиданий; исполнение акта должен был взять на себя П. Рутенберг, который для этого должен был притворно согласиться на провокаторские предложения Гапона.

4) Один из присутствовавших членов ЦК (не Азеф) взял на себя немедленно сообщить это постановление остальным членам ЦК, которыми оно было также санкционировано.

5) Все технически деловые сношения по выполнению данного постановления П. Рутенберг вел с Азефом и конечно, не имел тогда

оснований усумниться в том, что Азеф является верным выразителем решений ЦК.

6) Ввиду обнаружившейся ныне общей роли Азефа, {108} ЦК не имеет никаких оснований сомневаться в верности заявления П. Рутенберга, что в своих переговорах с ним о практическом выполнении намеченного плана Азеф допускал, вопреки постановлению ЦК, в котором сам принимал участие, и убийство одного Гапона. По указанию П. Рутенберга на лиц, с которыми Азеф вел переговоры об участии в убийстве Гапона, Ц. Комитетом в настоящее время производится необходимое расследование, результаты которого будут своевременно опубликованы. То же относится и к указанию П. Рутенберга на лиц, через которых Азеф был извещен за 2 или 3 дня о подготовке убийства Гапона в Озерках.

7) При наличии такого рода роли Азефа формальная безукоризненность поведения П. Рутенберга, в смысле соблюдения им партийной дисциплины, не подлежит сомнению, и несогласный с партийным решением результат предприятия ложится на ответственность Азефа.

8) Вплоть до смерти Гапона последним известием, которое ЦК имел об этом деле, было сообщение, что П. Рутенберг отказывается от продолжения дела и уезжает за границу, что развязывало руки ЦК и дало ему возможность придать всему делу иное направление, приняв участие в организации общественного суда над Гапоном,— суда, в распоряжение которого ЦК полагал передать и показания П. Рутенберга".

Почему Ц. Комитетом было признано "решительно неприемлемым" "короткое подтверждение", не знаю. Не знаю смысла и цели принятого ЦК "длинного подтверждения". Неточности его видны из изложенного выше. О некорректности ЦК в этом заявлении судить не мне.

Понимаю, почему ЦК, находившийся под влиянием Азефа, так долго и упорно отмалчивался и уклонялся от дела Гапона. Понимаю: именно потому, что находился под влиянием Азефа. Но спрашиваю: почему, когда Азеф оказался всего лишь "ценным для правительства агентом розыскной полиции", ЦК не разъяснил дела прямо и просто, а опять старается затуманить его? Зачем он "оправдывается" раньше, чем кто бы то ни было его обвинил в чем бы то ни было? Зачем сваливать на Азефа, на провокатора Азефа всю ответственность? Ведь ответственность здесь возможна только одна: за смерть Гапона. Разве ЦК не ответственен за нее? Разве он не признал Гапона провокатором? Не приговаривал {109} его к смерти? Достойно ли такое поведение ЦК П. С.-Р.? Достойно ли это "чести партии и всей истории партии"?

До сих пор говорил об отношении ЦК ко мне. Теперь спрашиваю. Думал ли ЦК о смуте и муках, пережитых за эти годы теми, кто привел в исполнение состоявшийся над Гапоном приговор Ц. Комитета? Смуте и мукам из-за необъяснимого замалчивания Ц. Комитетом дела Гапона?

Заканчивая, формулирую мое отношение ко всему изложенному выше.

1) Считаю, что Гапон был человек талантливый, но невежественный, человек честолюбивый и властолюбивый, хитрый, но легко возбудимый, легко поддающийся всякому влиянию. Закулисная сторона 9 января и роль в ней Гапона мне неясны до сих пор.

2) Думаю, что в начале 1905 г. за границей Гапон был искренне предан интересам народа, но революционное подполье, по необходимости узкое в своей деятельности, не могло дать удовлетворения ему, пережившему 9 января, которое во всяком случае было организовано при его участии и руководстве и под его именем.

За границей интеллигенция **не сумела** оказать на него то моральное давление, дать ему то моральное воспитание, выдержку и знания, которых ему так недоставало, не сумела достичь этого, по-моему, ввиду демагогической природы Гапона, ввиду развившегося у него под влиянием славы, денег и лести самомнения, убеждения в предстоящей ему исключительной исторической роли, рисовавшейся ему даже в **снах**, о которых он так часто говорил. Уязвленное (отношением революционных партий) самолюбие разнуздало его; вера в свою избранность стерла грани между дозволенным и недозволенным. Об остальном позаботился Рачковский.

3) Гапониада в той части, в которой я к ней оказался причастным, состоит из двух совершенно отличных друг от друга дел:

- а) предательства и смерти Гапона и
- б) роли ЦК П. С.-Р. в этом деле.

Вопрос о предательстве Гапона в настоящее время установлен помимо меня и в моих доказательствах не нуждается. Роль Азефа в партии запутала ЦК и меня, но не изменила факта: предательства и провокации Гапона и неизбежности его смерти. В военное время отношение к предательству одно...

{110} 4) Мои переговоры с заведомо обреченным человеком имели моральное оправдание, поскольку необходимо было подробно выяснить дело и поскольку, идя на свидание с Рачковским, я шел сам на смерть. Но вторично такой роли я на себя не взял бы.

5) Думаю, что до смерти Гапона Азеф не сказал Рачковскому о данном мне партией поручении. Может быть, не успел предупредить (в течение 1½ месяцев)? Может быть, хотел "передать" меня Рачковскому со снарядами? Может быть, хотел, чтобы Рачковский был убит вместе с Гапоном?

Азеф воспользовался Гапониадой, чтобы оправдаться перед ЦК в происходящих в Боевой Организации неудачах. Думаю, что впервые ему пришло в голову воспользоваться мною в этом смысле в середине марта 1906 г., когда я приехал к нему советоваться о дальнейшем моем поведении с Гапоном. Со свойственной ему наглостью он так грубо стал тогда обрабатывать меня в нужном для него направлении, что вызвал во мне непреодолимое к нему отвращение. Такое отвращение, что я не мог заставить себя пойти к нему на свидание и написал ему об этом. Записка, послужившая поводом к обвинению меня со стороны Савинкова в оскорблении "чести партии и всей истории партии".

б) Никто, кроме меня и "слуги", до смерти Гапона не знал о даче в Озерках, которая была нанята мной неожиданно, вопреки инструкциям Азефа, поручившего все сделать на финляндской территории. (Может быть, он этим имел в виду скомпрометировать Финляндию.) Не знал места и Азеф. Но он был предупрежден о времени, когда приговор ЦК над Гапоном будет приведен в исполнение.

Для понятных и нужных для Азефа соображений он сумел получить от ЦК публичное заявление о непричастности партии к смерти Гапона,

заявление, не соответствующее действительности.

7) Обвиняю себя в том, что в течение трех лет не сумел ликвидировать этого дела. Оправдывающие меня обстоятельства вопроса по существу не меняют. При большей с моей стороны настойчивости, которая при сложившихся обстоятельствах была для меня безусловно обязательной, фигура Азефа выяснилась бы, может быть, раньше.

8) Говоря о "Центральном Комитете", имею в виду тот ЦК, состав которого почти не менялся в течение последних трех лет и который в настоящее время отставлен от дел. Все его члены, с которыми мне пришлось {111} сноситься по делу Гапона, существуют. Исключая Азефа, который пока тоже жив.

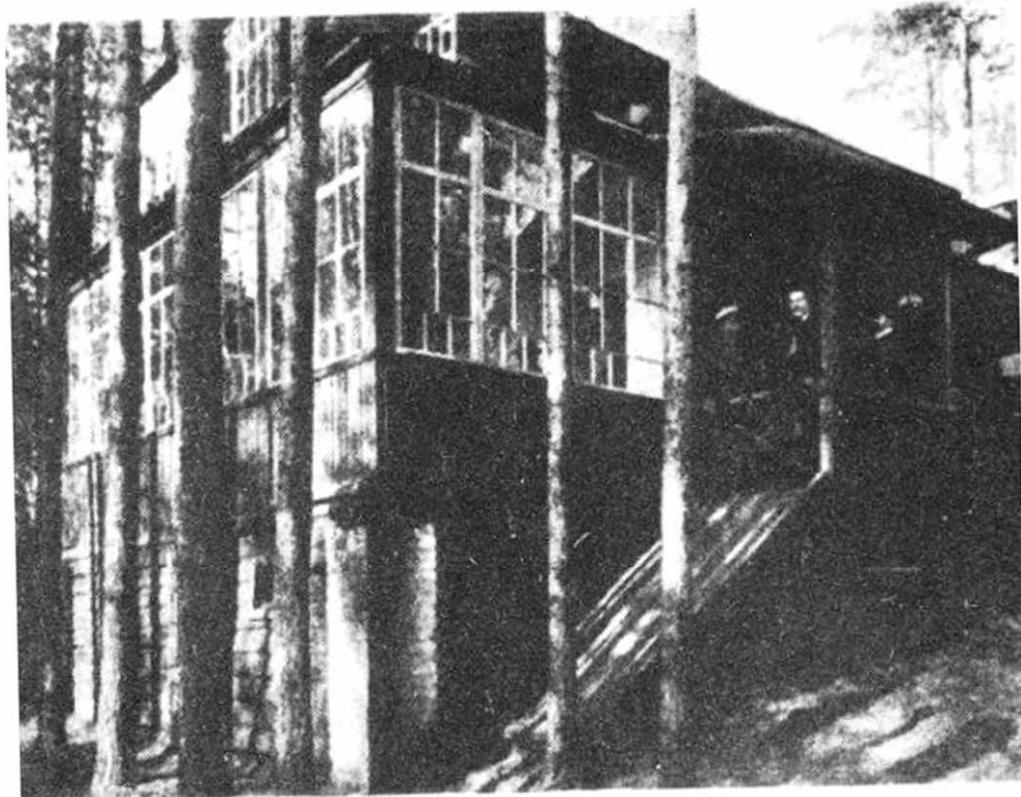
Обвиняю этот ЦК:

а) В замалчивании смерти Гапона, совершенной членами партии на основании фактически состоявшегося приговора партии.

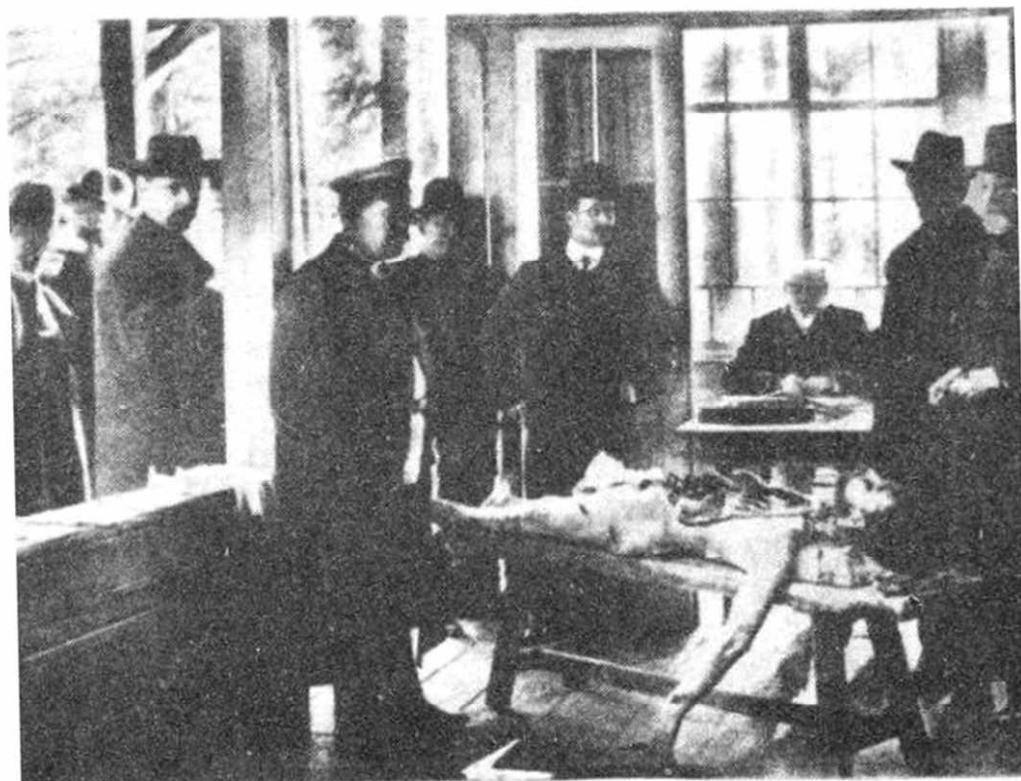
б) Во введении в заблуждение публичного мнения сделанным ЦК заявлением в печати в мае 1906 года, где говорилось, что партия никаких сношений с Гапоном не имела.

в) В том, что своим поведением ЦК поставил меня в морально двусмысленное положение по поводу сношений с Рачковским, инициатива которых исходила из ЦК и фактически была одобрена всем его составом (исключая одного голоса).

Знаю всю глубину несчастья, постигшего членов этого ЦК в деле Азефа, и выражаю им мое глубокое искреннее товарищеское сожаление. Выражаю им мое сожаление за все проделанное ими надо мной, ибо знаю, что и в этом деле они достойны были лучшей доли. На их примере пришедшие им на смену научатся, как во многих случаях не должен поступать ЦК партии социалистов-революционеров.



Дача въ Озеркахъ.



Вскрытие тела Гапона на даче в Озеркахъ.

СОДЕРЖАНИЕ

От издательства	3
Предисловие П. М. Рутенберга	4
Часть I. Гапон (январь — ноябрь 1905 г.)	5
Часть II. Отчеты Центральному Комитету Партии С.-Р. о предательстве и смерти Гапона	29
Часть III. Мои сношения с Центральным Комитетом Партии С.-Р. по делу Гапона после его смерти	81

РУТЕНБЕРГ

«УБИЙСТВО ГАПОНА»

Редактор

Александр Белорусец

Художник

Виктор Виноградов

Художественный редактор

Владимир Медведев

Технический редактор

Валентина Нефедова

Корректор

Тамара Томашевская

Подписано в печать 25.06.90. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Сенчуря». Печать высокая. Уч.-изд. л. 7,3. Тираж 100 000 экз. Заказ 388. Цена 1 р. 90 к.

СП «Слово» — Коми книжное издательство
121433, Москва, Б. Филевская ул., 37, к. 1.

Отпечатано с диапозитивов на Калининском ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР Госкомиздата РСФСР. 170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.

